

Источник: Тендряков В. Ф. Исповедь счастливого человека : [неоконченная повесть] / В. Тендряков ; публ. Н. Г. Асмоловой, М. В. Тендряковой // Знамя. – 2018. – № 12. – С. 101-130.

Владимир Тендряков

## Исповедь счастливого человека

5 декабря 2018 года В.Ф. Тендрякову (1923–1984) исполнилось бы 95 лет. Дней рождений и юбилеев своих он не любил, всегда норовил куда-нибудь ускользнуть от празднований. Вот и сейчас его нет с нами. И вековая без малого дата тоже как будто не про него, он совсем не успел состариться: прибежал со своей ежеутренней многокилометровой пробежки и упал, и все... Всего-то года полтора не дождался, когда рухнул режим, казавшийся незыблемым. Когда стало возможным опубликовать то, что писалось «в стол» и десятилетиями ждало своего времени.

Автор не дождался, а рукописи дождались. Тогда с началом перемен в стране был опубликован цикл рассказов и повестей — «Донна Анна», «Охота», «Чистые воды Китежа», «На блаженном острове коммунизма»... Но в архиве еще осталось неизданное, то, что может быть продолжением и новыми поворотами разговора с давно ушедшим из жизни писателем.

Эта неоконченная повесть — фрагмент нашей семейной истории, записанной для «своих», В.Ф. Тендряков никак не планировал его печатать. Даже больше, писал не от своего лица, надеясь, что повествование будет подхвачено и продолжено самим героем. Но время идет, и крупницы прошлого, его атмосфера, дошедшие из первых рук, становятся самоценны.

Году в 1973-м мой дедушка, мамин папа, заслуженный энергетик СССР Григорий Львович Асмолов (1906–1984), вышел на пенсию и страдал, ощутив себя не у дел. Папа искренне недоумевал: такая биография за плечами, столько повидали, пережили, построили — пишите! Чтобы его поддержать и вдохновить, папа начал писать его историю!..

Биография, через которую прокатились и революция, и еврейские погромы, и все мечты «мы наш, мы новый мир построим»...

«Исповедь счастливого человека» — это взгляд на историю страны глазами поколения «комиссаров в пыльных шлемах». Именно они были кумирами мальчишек, родившихся в начале 1920-х годов. Именно с ними позже произошел болезненный разрыв поколения шестидесятников.

Как выходили в люди и чем жили те, кто на своем горбу тянул страну в войну, голод, разруху? На чем держалась наивная вера в светлое будущее? Почему романтика великих свершений оказывалась сильнее репрессий и постоянного риска пойти в распыл? Ведь не слепые же были...

Ответов, похоже, нет. Но диалог со старшим поколением если и не велся впрямую, то подразумевался всегда. Со своим отцом, районным прокурором Федором Васильевичем Тендряковым, мой папа не успел поговорить о том, что впечаталось в детскую душу и определило его путь, что сделало его автором рассказов «Параня», «Хлеб для собаки», «Пара гнедых». Да и вряд ли прокурор стал бы делиться мучительными сомнениями с сыном-школьником. А дальше была война, и скорое официальное извещение, что командир саперного подразделения Ф.В. Тендряков «пропал без вести» в сентябре 1941 года.

Хочу подчеркнуть, что отношение к прошлому, к истории страны писателя В.Ф. Тендрякова и энергетика Г.Л. Асмолова существенно различалось. Писатель В.Ф. Тендряков в 1960–1970-е годы уже вынес свой суровый приговор и революционной романтике, и индустриализации с ее ценой, и советской системе, и идеологии.

*Но от прямых споров со старшим поколением уходил, щадил их. В личных отношениях к ним мерилом было совсем иное. На похоронах бабушки у его гроба папа произнес, что однажды Григорий Львович сказал ему мимоходом, что, когда тот во время войны возглавлял Главвостокэнерго, в его системе никто не умер от голода. А это и есть самое главное. Отношение к человеческой жизни, ее цена. Это всегда вопреки всякой революции и государственнической идеологии. И что после этого, для папы уже отошли на второй план все их разногласия в беседах «о буднях великих строек»...*

М.В. Тендрякова

## В НАЧАЛЕ

Старый, старый, сентиментальный вопрос: бывает ли любовь с первого взгляда?.. Она, эта любовь, обрушилась на меня, когда мне исполнилось всего девять лет, продолжается вот уже пятьдесят восемь лет, заполнив всю мою жизнь день за днем без остатка, ни на минуту не сомневаюсь, будет продолжаться и дальше — до последнего часа, до последнего вдоха! Хотя теперь, казалось бы, чего уж, пора и отлюбить — получил отставку, новые поклонники, молодые, полные сил, заняли мое место. И тоже, наверное, до последнего часа, до последнего вдоха. Завидую им и радуюсь за них.

Недалеко от древнего Путивля, в излучине Десны, лежит столь же древний город Новгород-Северский. Над рекой вздымается крутой холм, буйно поросший кустарником, — считается, это остатки городища князя Игоря Северского.

Наиболее простодушные из местных жителей гордились:

— Тот самый Игорь, что в «Слове о полку»... И уж на то пошло, Ярославна не в Путивле, а как раз здесь плакала...

Да, Игорь — тот самый, о котором: «Не лепо ли ны, братие, начяти старыми словесы трудных повестий...» И Ярославна, если же плакала в «Путивлю городу на забороле», то уж здесь жила. Мы, мальчишки, находили на этом холме наконецники копий, топоры затейливо старой формы, а однажды и ветхий от ржавчины меч.

Город окружали заливные луга, и подступали к нему Брянские и Биринские леса — звонкий сосняк и дремучие заросли орешника. Поля вокруг ближайших деревень — Заручей (разбойное селение!), Домотканово (степенные хозяева) и Дробышево (никакой особой славы) — в зарослях густой конопли и в посевах гречихи. Весной гречиха празднично цвела, и ее запахи ветер заносил во все городские улочки. А после разливов вокруг оставалось множество озер и озерец, синих, как осколки, осыпавшиеся с неба. Летом одни совсем исчезали, другие съезживались, зарастали осокой и хвостцем, к ним — паломничество местных барышень, за белыми лилиями.

Сам Новгород-Северский — кирпично-красный, приземисто одноэтажный. Три бульжных улицы пересекают его — Губернская, Глуховская, Казацкая. Ближе к реке, возле площадей Базарная и Городская — особняки редко наезжавших князей Гагариных, Мусин-Пушкиных, не столь родовитых, но никак не менее состоятельных почтенных жителей, владельцев лесов и пароходов Варварина и Судиенко и тоже почтенных, но помельче, хозяев маслоделок, крупорушек, лесопилок. В окольных улочках и тупичках дома «частных уездных обывателей» — парикмахеров и сапожников, портных и медников, бакалейщиков и ломовых извозчиков-балагул. Украинцы, русские, белорусы, евреи, прибалты — город, что маленький Вавилон, в нем смешение народов.

Кроме богатых персон у города есть еще и свои знаменитости. В мужской гимназии преподает латынь Александр Александрович Кононенко, на молодом красивом лице окладистая каштановая борода. С его отцом-народовольцем по-азиатски расправились жандармы — привязали к хвосту лошади, пустили вскачь. Сын за отца носит венец мученичества, пользуется почтительным уважением горожан.

Совсем иная слава у его коллеги, учителя рисования Ройляна. Щупл и мелок, только брови внушительны — форменная фуражка с двумя кокардами, на формен-

ном мундире пелерина с тяжелыми застежками — морды львов, в яркое ли солнце, в дождь ли, в жару ли, в холод в новых галошах и с зонтиком, человек в футляре да и только. Дом его, пестро окрашенный как игрушка, был укрыт глухим высоким забором, на засовах и запорах ворота, на засовах и запорах двери дома, замки на ставнях окон, и во дворе свора собак, правда не столь злых и кусачих, сколь шумно брехливых. За забором, за запорами, за собаками — только ли по желанию замкнуться в футляре? Нет, причина попроще — слишком молодая жена. Каждый день в один и тот же час выводил ее, уцепившись за локоть, шествовал по самой людной улице, насупив брови, и верх украшенной кокардами фуражки едва доставал до ее округлого плеча. Трех учителей рисования можно было выкроить из сдобно розовой, вальяжно грудастой с пшенично-золотой копной волос супруги. Походили взад-вперед и — за забор, за засовы, под замки сокровище! Моисей Кулик, великовозрастный гимназист, специально принимал у господина Ройляна уроки рисования, корпел над растушевочкой античных бюстов, но, кажется, не преуспел — ни в тайных намерениях, ни в святом искусстве.

Однако самым известным и самым любимым — вплоть до нас, уличных мальчишек! — был Толь Толич Ассинг. Он жил в скромном домике, укрытом густым садиком, заполненном родней, постоянными гостями, приживалами и приживалками. Он ходил в замызганном бессменном сюртучке — нищ по одежде и блажен по облику: сед до голубизны, до воздушности худ, на прозрачном лице слезящиеся старческие глаза. Но от него истекла такая покоряющая доброта, что даже после мимолетной встречи человек долго помнил и, наверное, долго потом жил иначе, старался быть душевно опрятней. А из дома его в любое время слышалась музыка, по утрам, днем, вечерами, поздно ночью всегда кто-то играл на рояле. Даже воздух возле его дома казался другим, не буднично городским с запахами пыли и унавоженной дороги — напоен красотой.

Мы, мальчишки, лазали по всем садам в городе, но никогда — в сад Толь Толича. Не было нужды залезать, едва мы появлялись, как кто-то выходил и предлагал: «Берите, мальчишки, не стесняйтесь». Да и мы, отпетые, чувствовали атмосферу красоты и чистоты, не смели ее нарушить.

Если бы не Анатолий Анатольевич Ассинг (все от мала до велика, в глаза и за глаза звали его только Толь Толичем), то уездный городишко Новгород-Северский жил бы обычной скудной, нудной, наверное, не только обывательски пустой, но и обывательски жестокой жизнью, которую в свое время Достоевский безжалостно припечатал: «Зверина уездная глушь». Было, конечно, и у нас звериное, кто-то дичал в невежестве, кто-то беспробудно пил, во рву, в роще за загородным садом резали и грабили, в базарных лабазах обвешивали и обмеривали, Варварины, Судиенко, вкупе со светлейшими князьями Гагариными хищничали в лесах, жали сок из работников на обоих пенькотрепальных-прядильных заводах, а в монастыре на холмах жирели и кликушествовали монахи. Звериное было, но город жил не только им, и обязан он этим главным образом Толь Толичу.

Наверное, и я сам стал бы грубей, черствей, хуже относился к людям, меньше радовался в жизни, если б через мое детство, ничуть не подозревая о моем существовании, не прошел Толь Толич Ассинг, старичок с кротким характером и неистовой страстью.

Нет, он скорей всего не обладал особыми талантами, не был ни писателем, ни приличным музыкантом, наверное, и актером тоже. Больше того, он не был даже богат. Нищ не только в сравнении с Варвариными и Судиенко, но беден по меркам Епифанова, нашего домовладельца. Единственно что он имел (зато неограниченно, сверхобильно, для нормального человека невообразимо) — любовь к искусству.

Его усилиями и хлопотами на Базарной площади был поставлен Народный дом (не вина Толь Толича, что он оказался по соседству с городской тюрьмой). Дом этот — посильная копия МХАТа: такой же занавес с «чайкой», такие же кресла, где в спинках, на обратной стороне, врезаны фотографии сцен из мхатовских спектаклей. И здесь под руководством Толь Толича любители играли для новгород-северцев серьезные пьесы. И не только любители. Получалось, что мхатовцы приезжали в Новго-

род-Северский чуть ли не каждое лето, не всей труппой — отдельные актеры. Тогда вместе с любителями выступали такие знаменитости, как Москвин и Тарханов.

Наезжал и Московский Камерный театр во главе со Щирским. Тут же на Кляштор горе, рядом с церковью имел свой дом знаменитый актер императорских театров Уралов, непревзойденный в стране городничий из «Ревизора». Никто тогда не догадывался, что этот императорский актер с обличем могучего биндюжника, весельчак, выпивоха, был связан с революционным подпольем.

Постоянно бывали в городе и художники, выставляли в Народном доме свои картины, и пристрастившиеся к искусству жители славного града Новгород-Северского, принарядившись, чинными парами шли на вернисаж.

А душа всей этой кипучей, столь непривычной для уездных нравов жизни, ее неутомимый двигатель был Толь Толич. К нему стекались знаменитости, к нему тянулась молодежь, от него исходило то, чем гордился каждый обыватель и что неприметно меняло всех. По молодости лет я не мог играть на любительской сцене, общаться с людьми высокого искусства, даже посещать вернисажи, но играл мой старший брат, кругом меня говорили не только о ценах: на пеньку и на кожу... Западало в душу.

Толь Толич избаловал новгород-северцев спектаклями и выставками, а потому появление в городе театра-кино — живых картин — «Иллюзион», наверное, не было уже таким сногшибательным событием, больше взволновало нас, мальчишек.

Но у этого-то театра «Иллюзион» и определилась моя жизнь. Здесь-то и произошла та встреча, где я... с первого взгляда, до сего дня.

На востоке будто бы был обычай испытывать сына, только что вышедшего из младенчества: подносили к нему саблю, книгу и серп, следили, что первое схватит. Схватит сын саблю — быть ему воином, книгу — быть грамотеем, серп — земледельцем-хозяином. Проявилось, мол, то, что заложено аллахом.

А.Г. Достоевская в своих воспоминаниях о муже одну главу назвала «Рождественская болезнь Федюши». И в ней рассказывает, как их маленький сын, получив на елке игрушечную лошадку с санями, столь сильно возбудился, что заболел, перестал спать, не на шутку перепугал своих родителей. Федор Федорович Достоевский, сын великого писателя, стал видным в России коннозаводчиком. Лошади оказались его страстью на всю жизнь.

## **ОТТО ДЕЙЦ**

Все мои предки до седьмого колена и дальше были мелкими ремесленниками. Отец — портным. Во всю комнату стоял у нас низкий и широкий портновский стол — «каток». Над ним висела большая керосиновая лампа, под ней прямо посреди катка, скрестив ноги, обложенный кусками раскроенного сукна и китайки, сидел отец, шил, приметывал, откусывал нитки. Временами он отрывался от своей работы, торжественно показывал нам иголку, изрекал поучительно: «Кто иголку возьмет — от иголки помрет». Век над чужими тряпками — радости мало. Казалось бы, в моих генах не должно быть ничего такого, что делает человека пионером-энергетиком. Энергетики еще не существовало в мире, а редкие тогда инженеры выходили из привилегированных сословий.

Открылся «Иллюзион». Зазвучало на улицах новое слово «кинематограф». Спешите видеть, господа! Первыми, разумеется, спешим мы, побросав уличные дела.

Был вечер, в окна домов зажегся свет. Привычный тихий свет, не казавшийся ни робким и ни тусклым — керосиновые лампы, вознесенные к потолку, керосиновые лампы посреди семейных столов, а кое-где еще и сальные с запашком свечи. Город в вечерних огнях становился каким-то отрешенно вымершим, уже спящим, хотя до сна еще и далеко. День кончен, жизнь остановилась, она возродится только утром, с первым лучом солнца.

Мы выскочили из потопленного ночью города на Городскую площадь и... остолбенели. Площадь вырвана из ночи! Не солнечный, нет, иной, неведомый, слепящий и подмывающий — кричи от восторга! — свет из стеклянных пузырьков, повешен-

ных над входом в «синаматограф». И бульжная площадь выглядела сейчас странно, каждый камень залит светом и плавает в тени. Вся мостовая в буграх и впадинах, раньше неприметных, сейчас — как застывшие волны. И небо черное, без просвета, без мелкой звездочки. Оно низко нависло над крышами, кажется, заберись повыше и тронь рукой — ощутишь тугую упругость. И памятник Александра II, царя-освободителя, как-то жестоко измят, скомкан беспощадным светом.

И у полицейской управы непривычная физиономия — окна испуганны, на челе глубокие морщины. Кажется, что окружающие дома панически пятятся и люди на площади ведут себя ненормально, радостно-нервно, громко говорят, усиленно жестикулируют, не могут стоять на месте. И густые тени от них кривляются на неровном бульжнике, выскакивают на стены, срываются... И вывеска «Иллюзион», донельзя облитая светом, словно отделилась от стены, повисла в воздухе.

А ночь рядом, рядом, весь город — прячется в ночи. По всему городу сидят люди под тусклыми лампами, не подозревают, что на знакомой Городской площади ночь исчезла!

Я долго не мог прийти в себя, а когда пришел, то почувствовал — я уже не тот, не похож на себя, и говорю не так, и двигаюсь по-другому.

Вот оно — случилось! Но я еще не подозревал об этом.

Чудеса продолжались и в набитом зале «Иллюзиона». Там, в стенах, горел все тот же сказочный свет, и люди послушно и не только растерянно сидели перед куском белого полотна, растянутого на стене, с непонятым терпением глядели на него — скучно чистый, бессмысленный, ничего не обещающий.

Вшел известный всему городу тапер Тарковский — за стопку водки приглашали играть на свадьбах и вечеринках, — грязен, нечесан, обвисшее, жидкое лицо, на теле болтаются остатки фрака, на шее — остатки манишки и, как всегда, пьян. Про него ходили слухи — не мужик и не баба, и то и се, прозванное странным словом гермафродит. Тарковский сел за рояль, вскинул нечесаную голову и заиграл.

Внезапно погасла лампа-пузырек под потолком, секундный непроглядный мрак, звуки рояля Тарковского. Треск, и через головы — пыльное полотнище потустороннего света. Стена впереди, где был натянут кусок полотна, провалилась, открылся другой мир, нисколько не похожий на обычный, новгород-северский, лишенный звуков, с судорожно двигающимися людьми.

Впоследствии я пересмотрел все фильмы подряд, какие у нас показывали, и сейчас уже не вспомню, что именно глядел в первый раз: веселье ли выходы Макса Линдера, страсти ли Веры Холодной или же — «Умер бедняга в больнице военной»... Не первый год шла война, и юная кинематография откликнулась на нее.

Этот удивительный запредельный мир, что возник в темноте, был для меня как бы продолжением того чуда на площади. Одно с другим тесно слилось, по отдельности не представлялось, как нельзя представить реку саму по себе, берега сами по себе, колеса на дороге без телеги, ноги, идущие без туловища. И после этого долгие годы электрификация для меня была частью кинопроектора, ему служила, для него существовала. И я отдавал себя кино и электроэнергетике одновременно. Да тут вряд ли я был одинок, большинство населения в глухих и не очень глухих местах России впервые познакомилось с электричеством не через лампочку в избе и уж никак не через рабочий электромотор, а через приехавшую на санях киноустановку. «Абрек Заур», «Пат и Паташон», «Красные дяволята» — те Прометеи, что несли людям новый огонь.

Я возвращался домой ночью, по темным улицам, мимо все еще светящихся окон. Светящихся?.. Нет! Чуть подкрашенных светом, оскорбительно унылым и обманчивым. И весь город мне казался опущенным в подземелье. Нестерпимо хотелось, чтоб скорей наступило утро.

Но с утра «Иллюзион» был мертв и скучен, обычный дом, не отличающийся от других. Возвышался среди бульжника каменный Александр II, спесиво и важно взирал полицейский участок. Я уходил, делал свои мальчишеские дела и возвращался снова и снова.

Только к вечеру, когда, солнце спряталось за крыши, я увидел, что открыта дверь, ведущая в подвал «Иллюзиона». Как еще ни был я тогда прост и наивен, но сразу

сообразил — там-то и прячется то, что вырвало у ночи Городскую площадь, открыло в темном зале странный мир.

Из подвала пахло маслом и керосином, в глубине поблескивала начищенная медь и торчало огромное, больше моего роста, колесо. Механик, рослый латыш, заметил меня и кивнул головой — входи. И я вошел в святая святых...

Так произошло мое знакомство с «Отто Дейцем», двухцилиндровым двигателем, с подавляюще громадным маховым колесом. Когда «Отто» с лязгом и грохотом работал, от колеса шел ветер, а в чреве «Отто» можно было видеть раскаленный запальный шар. Латыш постучал ногтем по табличке, перекричал беснующегося «Отто»:

— О! Восемнадцать лошадиных сил!

Подумать только — восемнадцать лошадиных!..

От «Отто» шел широкий ремень к другой машине — динамо. Она менее была внушительна, но тоже, видать, не проста, на ее табличке значилось — 12 кило-ватт! Что это за зверь и какой силы, я не знал.

Первая в моей жизни энергетическая установка.

Я на все лето стал рабом «Отто Дейца». А так как я уже успел побывать в учениках у Исаака Мейтина — «починка замков, слесарные работы», — то, наверное, и в самом деле от меня была какая-то помощь. Хозяин «Иллюзиона» заплатил мне за сезон три рубля. На них я себе купил новые штаны.

### **Я ЧАСТЬ ТОЙ СИЛЫ...**

Если я и представляю какой-то интерес, то только потому, что был связан с энергетикой, моя маленькая биография вошла целиком в ее величественную биографию, определившую жизнь любого и каждого человека, в том числе и тех, кто читает сейчас эти строки. Энергетика — главный герой моих записок...

<...>

4 сентября 1882 года первый из городов мира Нью-Йорк заливается электрическим светом. Этот день можно считать днем рождения промышленной энергетики.

Ну, а Россия?..

Еще до света в Менло-Парке и даже до того, как на парижских бульварах вспыхнули «свечи Яблочкова», некто Кон, став во главе товарищества, организованного Лодыгиным, выпускает под своим именем усовершенствованную лодыгинскую лампочку. Три таких лампы в течение двух месяцев 1875 года освещают магазин белья Флорана в Петербурге. Эти лампы, по предложению Струве, опускают под воду для освещения кессонов строящегося через Неву Александровского моста. Но на следующий год Кон умирает, товарищество распадается, слишком ранний эпизод с электроосвещением забывается.

Однако в 1879 году в Петербурге освещен Литейный мост, а спустя несколько лет в Москве Лубянский пассаж.

Россия рано начала, раньше западных стран, пожалуй, даже раньше Америки, но туго осваивала. В ней, аграрной, с неразвитой промышленностью стране, не мог произойти такой электрификационный взрыв, какой совершил Эдисон — за два года от экспериментальной лампочки к освещению громадного города! Интерес к электричеству у нас еще долго будет полулюбительским. Сооружаются маленькие станции в Одессе, в Царском Селе, в Гельсингфорсе, в Лодзи. Уголь для топлива везут из Англии. И удивительно ли, что русские специалисты на протяжении двух десятилетий сетуют: «Электрическое освещение один из наиболее дорогостоящих способов освещения...»

И все же электроэнергетика мало-помалу проникает в промышленность не без влияния иностранного капитала. Под контролем германской фирмы «Сименс и Гальске» создается акционерное «Общество электрического освещения 1886 года». Оно теперь нам памятно тем, что из него выйдут апостолы советской энергетики.

На новороссийском элеваторе появляется одна из первых в мире станций трехфазного тока.

В Сибири на Ленских золотых приисках строится первая промышленная линия электропередачи — длиной в 21 километр, напряжением в 10 киловольт. По тому времени — высоковольтная! В Баку на нефтепромыслах в 1900 году строится рекордная по мощности электростанция — 16 тысяч киловатт.

Но Россия отстает от США примерно в пятнадцать раз, от Германии в два с половиной раза. По огромной стране протяженность всех электролиний каких-нибудь сто километров.

## РЕВОЛЮЦИЯ

По-прежнему стихийно плодятся полулюбительские станцияшки — крупными помещиками в своих хозяйствах, в мелких городах на паях, теми, кто побогаче.

И Новгород-Северский тоже обзавелся своей крохотной станцией — приложением к водонапорной башне. Движок установлен между тюрьмой и Народным домом. По вечерам окна особняков, все тех же Варвариных и Судьенко, ярко горят электрическим светом. Мой отец, как и все, шьет под керосиновой лампой.

Я по-прежнему торчу в подвале театра «Иллюзион Люкс», служу верно «Отто Дейцу». А в мире наступает 1917 год!..

Знакомый мне мальчишка-газетчик бежит по площади, размахивает газетой и вопит:

— Революция в Петрограде! Царь отрекся от престола!.. Революция! Царь отрекся!..

И с разных концов площади раздается грохот опускаемых железных штор в магазинах, царь отрекся! Власть нет! Значит, беспорядки, разбой! Перепуганные хозяева спешат закрыть свои лавчонки, словно за опущенными ставнями можно спрятаться от истории.

Посередине улицы идет молодежь — гимназисты вместе с учителями, мастеровые локоть к локтю с нарядными барышнями — и все громко поют:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног!..

Песня эта мне известна, ее пел мой старший брат, когда собирался у нас со своими товарищами. Но пели они обычно тихо, вполголоса, с оглядкой, чтоб песня не вылетела на улицу.

Вылетела! Толпа посреди улицы растет и ширится, наливается грозной силой и песня. И стоят наглухо закрытые магазины. И торчат в окнах недоуменные лица обывателей.

В тот ли день или в другой — уже не помню — восторженная толпа пронесла через весь город из гимназии к Народному дому на руках кресло с Александром Александровичем Кононенко, отец которого был зверски убит царевыми слугами. Кононенко крутится на вознесенном кресле, умоляет опустить, но не опускают, несут, кричат и поют:

Нам не надо золотого кумира,  
Ненавистен нам царский чертог!..

Царь отрекся от власти, однако «золотой кумир» по-прежнему в силе.

Не Кононенко, гимназический учитель, а Судьенко и Кейзик, владелец громадного магазина скобяных и хозяйственных товаров, берут город в свои руки. «Да здравствует уездное учредительное собрание!». Все заборы густо обклеиваются списками в «Учредилку». Список номер один — кадеты. Список номер два — эсеры... Список номер шесть — большевики.

## ПОГРОМ

Пошумели, пошумели да смолкли — учредительное собрание не собирается. Кони объели списки в «учредилку». Зимой, в декабре, стушевались, стали незаметными Судненко и Кейзик, к власти приходят большевики. Председатель укома РСДРП — рабочий Шостинского порохового завода (верстах в двадцати от города) Демьян Сергеевич Коротченко. Председатель ревкома — Сергей Ромченко, пастух общественного стада. Он раньше часто появлялся в нашем доме:

— Анна Исааковна, погуляла твоя корова.

И мать, хлопоча, усаживала его за стол.

Пройдут десятилетия — и Коротченко станет председателем президиума Верховного Совета Украины. Пастух же Ромченко — одним из виднейших работников Наркомзема СССР.

Но пока у них трудная судьба — близко немцы, за их спинами гайдамаки и кругом банды.

6 апреля 1918 года — памятная для Новгород-Северского «черная пятница». Демьян Коротченко вместе с вооруженным отрядом где-то в уезде, пользуясь его отсутствием, в город врывается банда Ремнева и Гривы. Сколько таких банд гуляло тогда по нашим краям, они то величали себя анархистами, то украинцами-самостийниками или назывались революционными отрядами — красились красными — под большевиков. Сегодня одни, завтра другие, кем выгодно, тем и были, прятались от силы, нападали на безоружных. И вот напали...

На Глуховской улице началась паника — сдавленные крики, женские причитания, плач детей. В дом врывается бледный отец:

— Скорей! Скорей! Бросайте все! Анна — детишек! Бежим!.. К городскому саду, в рошу, в ров! Там спрячемся!..

Только старшего брата нет дома. Он, как узнали потом, раньше нас узнал о приходе бандитов, ушел к шостинцам, чтоб вместе с рабочими порохового завода сколотить отряд самообороны.

Мать хватает какой-то узел, сбивает нас в кучу — четверо девчонок, два мальчишки, старшая Софья уже большая, Ася же совсем маленькая. Выскакиваем из дому, даже не запираем его — к чему. Но по Глуховской уже скачут всадники — грубая ругань, крики, чей-то душераздирающий предсмертный вой.

— Задами! К Казачьей! — приказывает отец.

Мы лезем через забор в чужой сад, еще забор... К Казачьей улице, по ней как-нибудь к городскому саду, за ним глубокий заросший овраг, там можно спрятаться. Попадаем в сад начальника тюрьмы Глобы: голые мокрые яблони, яма в засохших прошлогодних будьях, куча нарубленного хворосту...

По Казачьей улице, за плетнем конский разгоряченный топот — все, бежать некуда. И громкий стук в калитку сада начальника тюрьмы:

— Эй! Открывай!

Отец, губы белые, челюсти сведены, толкает нас к яме:

— Быстро! быстро... Все туда! Голос придушенный до шепота.

Тесно набиваемся в яму, с нами мать. Отцу места нет. Он бросает на нас хворост, ложится сверху, натаскивает кучу хвороста на себя, замирает, замираем внизу мы.

И уже совсем рядом, во дворе, громкий разговор:

— Жиди е?

— Нету.

Другой голос, утробный, глухой:

— Кишки вытянем и развесим, коли прячете.

— Да за ради Христа! Какие у нас жиды? Ищите...

Мы жмемся друг к другу, не дышим.

— А ну — вдарь по саду!

Лязгают затворы — один выстрел, другой, сразу несколько вразнобой. Я в первый раз в жизни слышу, как свистят пули — нежно, с нарастанием обрываясь. Слово внезапно тонет в толще воздуха.

— Ой, птички поют! — удивленно и радостно во весь голос — маленькая Ася.



Мать зажимает ей рукой рот. А мы каменеем — услышали?.. Вдруг да Ася заплачет, тогда-то уж наверняка услышат. Ася возится в руках матери и успокаивается. Не заплакала.

Выстрелы прогрохотали и замолкли, «птички» перестали петь. Во дворе матерная ругань, хлопанье калитки, и вновь конский топот вдоль по Казацкой.

В стороне, где-то — неподалеку взвивается жуткий выкрик, за ним второй — не выкрик, а истощный всплеск ужаса. И сразу же захлебываются, похоже, душат... Душат женщин.

Чувствую, как дрожит рядом Гарик, младший брат. Его дрожь передается мне. Лежим, жмемся... Слышны только выстрелы по всему городу. Но снова дикие крики, детский залиvistый плач. Это далеко...

Отец сверху тихо, тихо роняет нам:

— Во рву... Туда добрались.

Выстрелы и звон стекла — грабят лавки на Базарной площади.

В беспорядочные выстрелы, рассеянные по всему городу, врываются другие, более отдаленные и глухие, но энергичные. Где-то на окраине за гимназиями растет перестрелка. Вновь по Казачьей скачут конные, на этот раз в обратную сторону, к реке.

— Нарвались на кого-то, — говорит отец, и голос его крепнет.

Беспорядочная перестрелка надвигается. Неожиданно с берега доносится звук трубы. Отец шевелится под валежником:

— Играют сбор!..

Отцу ли не знать воинских сигналов — бывший кантонист, много лет служил в царской армии.

— Похоже, уходят.

И вот выстрелы смолкают. Тихо на улицах. Город не шевелится, не живет — выжидает.

Мы лежим в тесной сырой яме, не вылезаем, тоже ждем...

Бандитов спугнул отряд рабочих-шостинцев. Не приняли боя, проиграли сбор...

Страшные подробности узнаются позднее.

Священник местной церкви, отец Аполлон (мирская фамилия — Коренев) вышел навстречу бандитам с крестом, пытался усюветить, остановить:

— Во имя Христа-спасителя! Не творите кровопролития!..

Один из всадников подскочил к нему, срубил старика шашкой.

Дочь отца Аполлона Нина Коренева вскоре на какое-то время станет нашим комсомольским секретарем, ее сменил Таня Браудэ.

Бандиты схватили двух дочерей синагогального служки, изнасиловали, вбили во влагища бутылки. Это произошло неподалеку от нас, должно быть, их крики мы и слышали в яме.

Страшная резня была во рву за рошей — редким удалось скрыться, убивали даже грудных младенцев.

Банда разделилась на две. Одни погрузились на пароход и поплыли вниз по реке. Их перехватил Демьян Коротченко со своим отрядом. Говорили, что ушли немногие.

Черная пятница...

### СПАСЕНИЕ ДЕМЬЯНА

А затем в город вошли немцы, привели с собой гайдамаков. От этих не бежали и не прятались — встречали. На Городской площади стояли столы, на них — бутылки с вином, кувшины с молоком, яйца, блюда с вареньем и печеньем — хлеб да соль, дорогие гости! Дорогие и долгожданные Варвариными, Судиенко, Кейзиками, которых не тронули бандиты Ремнева и Гривы.

В городе новая власть — поветовый староста. Демьян же Коротченко со своим отрядом уходит.

К нам неожиданно вечером явился Соломон Моисеевич Певзнер, в недавнем прошлом. — М.Т.) присяжный поверенный, человек, уважаемый в городе, ныне же — член управы, один из приближенных поветового старосты.

Отец с гостем скрылся в «чистой» комнате, где стоял бархатной скатертью с кистями покрытый стол, три кресла и большое трюмо. Там отец принимал своих заказчиц, там — наши парадные покои, куда лучше нам, ребягине, не соваться. Недолгий разговор шепотом, отец выглядывает и кивает мне:

— Гриша, иди сюда.

Певзнер, как всегда тихо-чинный, отутюженный, бесстрастный, кидает на меня взгляд и отворачивается, а отец нависает:

— Сейчас в вашем «Иллюзионе» крутят кино...

— Знаю. Видел уже.

— Пройдешь сейчас в зал, но так, что тебя никто... Через машинное отделение можешь?

— Могу.

— Отыщешь в зале Демьяна Коротченко.

— А разве он?..

— Отыщешь и скажешь — пусть уходят. Немедля! Будет облава.

Я давно свой человек в «Иллюзионе», никто не обратит на меня внимания, если я появлюсь открыто. Однако все-таки иду не по Глуховской улице, в обход, в машинное отделение захожу с задворок, а уж оттуда через служебный вход.

Под экраном наяривает на рояле тапер Тарновский, пиликает скрипач. Глаза долго привыкают к темноте. Оглядываю ряд за рядом — нет Коротченко, не вижу. Снова ряд за рядом, большинство знакомых лиц, только в дальнем углу какие-то бородачи... И в одном узнаю Исаака Мейтина — с бородой! Никогда у него бороды не бывало, да еще такой густой — приклеена. Исаак в отряде, значит, и Коротченко тут. И пока пробираюсь к углу, узнаю и Коротченко — тоже борода на всю грудь.

Подхожу вплотную, присаживаюсь, чуть слышно, одним дыханием:

— Дядя Исаак, Демьян Сергеевич, уходите. Облава будет.

Дышат в бороды, смотрят на экран, наконец, тихо:

— Иди. Мы за тобой.

Через машинное отделение, — подсказываю я и ухожу.

И машинное отделение набивается людно — не только Коротченко с Мейтиным тут из партизан.

— Откуда известно? — спрашивает меня Коротченко.

— Певзнер отцу сказал.

— Эге! Он знает... Спасибо ему. Пошли.

Они выходят за театр, один за другим лезут на забор, один за другим быстро скрываются. Я стою и слушаю их удаляющиеся шаги.

Через полчаса театр окружают гайдамаки, останавливают каждого у входа, проверяют. Двое гайдамаков становятся и у дверей в машинное отделение. Меня пропускают не глядя, уж я-то не похож ни на Коротченко, ни на Мейтина.

Был ли тогда с ними брат Мейтина? Не помню.

Его скоро схватили. Двое гайдамаков на лошадях, руки назад, один конец веревки к одной лошади, другой — к другой. Бьют плетками, лошади шарахаются, окровавленный пленник падает, волочится по земле, а его снова в двух сторон плетками, плетками — рубаха в лохмотья. Расстреляли его во рву.

Я плохо знал этого человека, хорошо знали мои родители. У матери, которая видела, как его вели и избивали, от нервного потрясения нарушилась пигментация кожи, лицо ее до самой смерти было загорелое и обветренное спереди, у волос на лбу, у висков, ближе к шее мертвенно-бледная кожа, — лицо словно надето, как маска.

А немцы целыми днями сидели в скверике перед зданием уездной полиции, ныне управы, пили пиво под сенью памятника Александра II, беседовали о своем фатерлянде.

А Демьян Сергеевич Коротченко, спустя тридцать с лишним лет, тоже выручил меня. В пятидесятом году на меня навесили бессмысленный и злой поклеп — оказывается, мой отец был вовсе не портным, а пенько-трепальным заводчиком в Новгород-Северском. Я же бесстыдно скрыл в документах этот факт. Как ни нелепо обвинение, а приходилось опровергать, искать свидетелей. Коротченко сам узнал о травле,

возмущение председателя президиума Верховного Совета Украины и прекратило клевету.

### МОИСЕЙ МЕСЕЖНИКОВ

Немцы скоро ушли, с ними смылись и гайдамаки.

А тем временем мы, мальчишки, росли, у нас тоже появились свои партии. Дети тех, кто побогаче, ходили в бойскаутах — белые панамы, белые блузы, на груди трехзубец, в руках непременно посох, — в походах эти посохи составлялись, на них натягивалась палатка.

Мы организовались в союз, сначала он носил название — «сорабмол». То есть союз рабочей молодежи, затем какое-то время именовались «соцамол», социалистическая молодежь, но сразу же превратились в «со-комол» — союз коммунистической молодежи. В этом слове для нас было что-то соколино-гордое, но нам скоро объяснили: вы еще вовсе не коммунистическая, а самая обыкновенная молодежь, вы — нет, а союз ваш должен быть таким — коммунистическим. И мы стали, теперь уже окончательно — ком-сомолом!

Почти все мы поступили в ЧОН — части особого назначения, — ходили не с посохами, а с самыми настоящими винтовками, охраняли склады, сопровождали обозы, случалось, вступали в бои с бандитами. В таком бою был убит Марк Аграновский, парнишка чуть постарше меня, известный среди нас книжник. Он плохо видел, носил очки с толстыми стеклами, слепота его и подвела. Отряду был отдан приказ отступить, а Марк не разглядел в темноте, куда двинулись его товарищи, пошел прямо на бандитов — его срезали.

Впрочем, что мы за воины, можно судить по маленькому эпизоду. Я и мой товарищ Лева Серебряный стоим на часах. Ночь, кругом никого и за нашими спинами — не шути! — склад оружия. Вдруг что-то зашуршало впереди.

— Стой! Кто идет?! — петушиными голосами.

Ответа нет, а шуршит уже ближе.

— Стой! Кто?!.

И мы залегли, выставили винтовки. Лева не выдержал, выстрелил в темноту. Я оглянулся... нет Левы, был да пропал. Оказывается, его отдачей винтовки отбросило назад — столь мал телом и легок.

Тревога, разумеется, оказалась ложной — не лазутчик контрреволюции, не бандит, а бездомная собака, благополучно улизнувшая от нас.

В свободное время мы играли в драмкружке в Коммунистическом клубе, бывшем доме купца Тюрина. И я даже преуспевал настолько, что мне пророчили — будешь непременно актером.

Иногда городу удавалось достать горючее, запускали движок, и тогда в Клубе горело электричество. Иногда и очень редко, чаще не было керосину даже для ламп, репетировали при коптилках. При коптилках теперь жил весь город. И в этом коптильном свете потускнела моя любовь, которая вспыхнула вместе с электрическими лампочками перед театром-синема «Иллюзион».

Казалось, то — детское, несерьезное, иные страсти захватили меня — ими жить, не светлыми лампочками. Как вдруг...

Культпросветом руководил у нас некто Моисей Месежников, из тех, кого называли вечными студентами. Донельзя худой, с темным иссушенным лицом «ешиве бухера» — еврейского парня, обреченного на изучение талмуда, — жесткие косматые волосы, подслеповатые очки, замызганная студенческая серая куртка с петлицами. Говорил он о мировой революции, о диктатуре пролетариата — глухой голос клокотал и рвался от переполнявшей страсти, заводил речь о мировой буржуазии — слова становились жесткими, злыми, а в темных глазах за очками вспыхивал — пугающий даже нас, его полных единомышленников — сатанинский огонек. Его всклокоченная голова была нечеловечески вместительна — Спиноза и Гегель, Фейербах и Спенсер, Прудон и Дицген, а «Капитал» Маркса декламировал, как стихи, из любого тома без передыху страница за страницей, целыми главами.

Нас он, однако, не душил своей премудростью, считал — достаточно «Азбуки коммунизма» Бухарина—Преображенского. И преподавание этой «Азбуки» было для него столь легким делом, что часто совмещал его с невинным, но непостижимым для нас развлечением.

Едва Месежников начинал нам читать, популярно излагая философские начала, как появился рыжий-рыжий и конопатый парень с шахматной доской под мышкой. Он сел за нас в стороне за стол, за спиной нашего лектора и молча расставлял на доске фигуры.

Месежников рассуждал о количественных накоплениях и качественном скачке, приводил пример почки, распустившейся в цветок, а рыжий негромко объявлял ему в спину:

— Мой ход: е-четыре.

— Заметьте, товарищи: почка в цветок превращается не плавно... Конь — эф-три!.. Скачкообразно!..

Ни на секунду не прерывается лекция, Месежников не видит ни рыжего, ни фигур, он занят только нами. А рыжий озадаченно нависает над доской, морщит конопатый лоб, думает подолгу. Идет лекция, идет игра за спиной лектора.

— Слон — а-шесть, — бубнит неуверенно рыжий.

— И в человеческом обществе перемены тоже происходят скачкообразно!.. Ла-дья — а-восемь!.. Революция, товарищи, это — скачок в будущее. ... Следующим ходом я даю шах ферзем на дэ-пять, и через два хода — мат!.. История, товарищи, шла от скачка к скачку, от революции к революции...

Рыжий вздыхает и с привычной обреченностью начинает собирать фигуры.

Наш лектор не видит, как он уходит. И нам даже кажется, что он ни разу не видел своего противника, не знает, какого он цвету.

Мы собрались на очередную лекцию, ждем Месежникова. В последнее время рыжий уже не появляется со своей доской — совсем, должно быть, разуверился в своих силах. Месежников задерживается.

Чадит коптилка на столе, только одна столешница и освещена, комната целиком погружена в темноту, лиц не видно, блестят лишь глаза и зубы.

Наконец лектор пришел, бросил на освещенный стол студенческую фуражку, сел перед коптилкой, отсвечивает очками несколько торжественней, чем обычно.

— Вы, конечно, все знаете, что сейчас в Москве в Большом театре идет Восьмой съезд Советов... А знаете ли вы, что вчера делегатам съезда показали карту России. Особую карту, товарищи, — горит! Для того чтоб зажечь эту карту, в Москве пришлось снести около тысячи старых развалившихся домов, пустить на топливо в электростанции. Карта зажглась электрическими огнями и показала делегатам, как залется светом наша страна. С докладом выступил товарищ Кржижановский, председатель государственной комиссии по электрификации России. Он доложил, что разработан план на десять лет, за это время мы должны построить крупнейшие станции. Чтоб одна станция — на целый большой город. Чтоб не было семьи, которая бы сидела с коптилкой. Даже керосиновые лампы — долой! Каждому свет! Строиться будут всюду: на севере, в центре России, на Урале, в Западной Сибири, даже намечено в Туркестанском крае, Мы начисто уничтожим темноту, товарищи. И не только по городам, но и в деревне. Мужик будет землю пахать электричеством! Ленин приводил на съезде слова мужика, выступавшего на открытии одной деревенской станции: «Неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту...» Всего нам нужно полтора миллиона киловатт. А стоять это будет один миллиард или чуть больше в золотых рублях. Вся беда, что у нас нет электрических машин, приходится покупать у буржуазии... Да! За золото!..

Горела коптилка, освещала исхудавшее, голодное лицо Месежникова, его отблескивающие очки, темнота напирала из углов. Я слушал и вспоминал вырванную у ночи Городскую площадь. Сейчас речь идет о всей стране, от Петрограда до Туркестана, всю страну — из ночи! Оказывается, возможно, надо полтора миллиона киловатт. Та динамо, что стояла с «Отто Дейцем» в подвале «Иллюзиона», имела всего двенадцать. Я лихорадочно прикидывал в уме: нужно более ста тысяч таких дина-

мо. Цифра за пределами моего воображения. Сто тысяч динамо и сто тысяч «Отто Дейц», чтобы крутить их. И тогда всю страну!

Горела коптилка, Месежников рассказывал, мы, затаившись в темноте слушали. И я представлял себе поля, леса, горы, города, деревни, над ними светлая-светлая ночь, никакой темноты, только беспокойные, как тогда на площади, тени. Праздничный свет над всей страной. Через десять лет. Мне тогда будет двадцать четыре года, буду еще молод. Даже Месежников доживет и увидит, а он-то куда старше меня.

Тускло светила коптилка на столе.

Эх, если б все происходило так просто, как мы себе воображаем. С каким восторгом, с какой страстью говорил тогда Месежников, а через полгода (или около того)... пустил себе пулю в голову. Из высоких революционных принципов. От отчаянья.

Весной Ленин повернул страну к нэпу. В промышленность допускались частники-концессионеры, в торговлю — частники-комиссионеры. Вместо Судиенко и Варварина в городе быстро стали расти новые хозяева, восстанавливали крупорушки, пенькотрепальные заводы, хапали тысячи, наедали физиономии, одевались с фасоном. И не смей хватать их за шиворот, наводить наган — представители госкапитализма, сам Ленин их защищает, о них говорит похвальные слова: «Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша теперешняя экономика». За сребреники продается революция, на шею пролетариата вновь садятся хозяйчики!

И кто садит, кто продает?! Он, Моисей Месежников, так верил Ленину. Верил и мечтал о мировой революции!.. И ствол нагана к виску под спутанные волосы...

Знал наизусть «Капитал» Маркса, от первого тома до последнего, как знает талмуд самый усердный «ешиве бухер». Знания еще не ум, а прямолинейность поведения еще не честность. Фанатик революции, если во имя братства, равенства и свободы некому пустить пулю в лоб, пускай себе.

<...>

## ИСХОД

Первые шаги нашей энергетики. Я же все еще торчу в подвале «Иллюзиона» возле тархтящего «Отто Дейца».

Ломовой извозчик (или по-местному — балагул) Гирша Пищик был приятелем моего отца. Устрашающе громаден, тяжелые покатые плечи, пудовые кулаки, жесткие усы врзлет, даже отчаянная заручейская шлана, первые участники при погромах, поножовщики, те, кто по ночам сторожил прохожих во рву, наводил ужас на новгород-северцев, почтительно обходили стороной Гиршу Пищика. Сомнет любого, ни кистень, ни финка не поможет.

Этот Гирша Пищик стоял на пристани и разговаривал с каким-то приезжим в сапогах с высокими голенищами, в старой форменной фуражке с якорем. Возле причала, сбросив сходни, дремал в мутной воде обшарпанный пароходик с большими колесами. Гирша заметил меня и окликнул:

— Эй, Гришка! Иди сюда!

Я подошел.

— Ты, вроде, хотел в Чернигов ехать?

Я хотел вырваться из Новгород-Северского, в Чернигов ли, в Киев ли, в Москву — все равно, лишь бы подальше. Город, где, собственно, прошла вся моя жизнь, стал для меня до удушья тесен. Кончилось неустойчивое время, давно распустили ЧОН, в укоме комсомола занимались разными текущими делами — кого-то трудоустроивали, налаживали ликбез и обходились без меня. Стареющий «Отто Дейц» — моя мальчишеская страсть — лишь напоминал о том, что пока ничего еще я не добился, ничему не научился, о чем-то мечтаю, а будущее не светит. Ну, стану я механиком при театре «Иллюзион» — какая в том радость. Хотелось учиться на электротехника, хотя эта профессия и представлялась мне заманчивой, однако смутной — то ли монтер, то ли механик, то ли еще что. В Новгород-Северском даже вновь организованные

школы все еще занимались нерегулярно. А кругом шумел большой, растревоженный мир: в далеком Поволжье голод, много шумят о предстоящей Генуэзской конференции, война не кончилась, на Дальнем Востоке наши войска столкнулись с японцами, пущена в ход Каширская электростанция... И мне пошел уже шестнадцатый год! В Чернигов ехать?... Да куда угодно.

— Хотел бы, да как?

— А вот он может с собой взять, — Гирша Пищик кивает на человека в фуражке с якорем — Капитан этого корыта, сам хозяин. И капитан соглашается:

— Садись хоть сейчас.

— Так у меня денег нет.

— Довезу и так.

Но как же... Дома не знают.

— Он отчаливает через час, — говорит Пищик. — Беги домой и думай.

Часу хватит.

И я срываюсь домой. А дома — никого, все разошлись. Мать где-то близко, можно поискать, но что я ей скажу: «До свидания, уезжаю». И уж так-то легко и просто она меня не отпустит — мол, скатертью дорога, начнутся расспросы, уговоры, слезы — куда да зачем и почему это ни с того ни с сего... А я еще вовсе не уверен, что меня возьмут на пароход, может, Гирша с капитаном просто решили посмеяться. После слез, прощаний я вернусь обратно — всем на смех, а мне сквозь землю от стыда провались!.. Я открываю комод, где лежат у нас обычно деньги, беру два или три миллиона — на них не купишь и коробка спичек, — сую в карман, даже записки не оставляю.

На пристани пароход уже сопит паром, снимают сходни, капитан в фуражке с якорем на борту, заметил меня, кричит:

— Эй, обождите! Его возьмем!.. А я думал, ты уже не придешь.

Мне ничего не остается, как подняться на пароход. Сходни втаскивают, пароход сипло гудит, сопя, пыхтя, дрожа всем корпусом, ворочает громоздкими колесами, бьет плицами по воде. Отчалили... Уплывает в сторону здание тюрьмы на берегу, водонапорная башня.

Пуповина, соединявшая меня с домом, оборвана. Я даже ни с кем не простился. Вечером меня будут ждать, удивляться — почему это не идет ужинать? Сжимает горло, гиря в душе, хоть бросайся в воду и плавом к берегу.

Да, я еще стану время от времени наезжать в свой Новгород-Северский, но только наезжать, а уже не жить в нем. С этим отчаливающим пароходом начинается самостоятельное существование — период моего кочевья по разным местам, разным организациям.

Капитан поместил меня в своей каюте, по дружбе ли с Гиршей Пищиком, по широте ли своей простой души — добродушно гостеприимен, он кормит меня и, того больше, поит всю дорогу. Впервые в жизни я пью водку, теплую, крепко отдающую сивухой.

В Чернигове он сердечно расстается со мной, у меня с похмелья мутная голова.

В губкомке комсомола несколько озадачены моим появлением. Оказывается, я спартизанил — не снялся с учета в своем укоме, не получил на руки путевки, — не знают, что делать с самозванцем, просят зайти попозже.

Болтаюсь по Чернигову, пароходный хмель давно выветрился из моей головы и, что хуже, выветрилась вчерашняя закуска гостеприимного капитана, гложет голод. Но на те миллионы, что лежат в моем кармане, и не мечтай что-либо купить. Если и продается что-нибудь где-то, то по голодному времени стоит сотни миллионов, если не миллиарды.

Захожу в столовую, огромная и сумеречная, почти пустая. Кормят, надо понимать здесь не каждого, только тех, у кого есть специальные талоны. Но решительно сажусь за стол, заспанная девица-подавальщица, ничего не спрашивая, ставит передо мной тарелку с порцией хлеба, уходит, чтоб принести казенный суп. И я решаюсь не ждать супа, за который нужно платить деньгами и талоном, хватаю хлеб, сую в карман и... форсированным маршем по улице. Украл в первый и в последний раз в жизни.

В губкомке комсомола меня ждет направление в Совпартшколу, там уже учатся наши новгород-северские.

Все, казалось бы, хорошо — дали койку в общежитии, получаю паек, учусь. Преподают нам историю, текущую политику, а мне-то хочется заниматься электротехникой. По «Отто Дейцу» скажу как по родному брату. И день ото дня беспокойство — не то, не по мне, а время-то идет. В губкоме я частый гость, тербля и выпрашиваю — нельзя ли меня определить по электротехнике. Качают головами, разводят руками: в Черниговской губернии и в помине нет таких учебных заведений.

Меня отправляют в Бахмутскую губернию, в Донбасс, ближе к промышленности, авось, там что-нибудь найдется. Не находится. Уком комсомола города Славянска направляет в военкомат, военкомат в красноармейские лагеря — 239-й полк 80-й Железной Донбасской дивизии.

И вот я воспитанник полка, политбоец, провожу комсомольскую работу среди молодых красноармейцев, ношу гимнастерку и обмотки, мечтаю надеть шинель «с разговорами» — украшающими грудь красными стреловидными петлями. Приказ Фрунзе: отчислить из армии и послать на учебу всех, кому не исполнилось еще шестнадцати лет. Мне не исполнилось...

Снова я выставляю требование — только по электротехнике! За короткие месяцы моей армейской службы электротехнических заведений не появилось. И меня посылают на мельницу, там паровая машина, при ней динамо для освещения. Мельница принадлежит нэпману, но за ним наблюдает экономический отдел в Бахмуте — направляет на трудоустройство подростков, следит, чтоб их не перегружали работой, не смели по старорежимному эксплуатировать. Не эксплуатируют, механики следят за вальцевыми машинами, за паровым двигателем, моя динамо крутится, дает ток, горят подводомственные мне лампочки. Я живу и жду, время от времени езжу в Бахмут, напоминаю о себе.

И вот, кажется, что-то замаячило: в Одессе, похоже, к осени должен открыться электротехникум.

## СМЕРТЬ ЛЕНИНА

Я увольняюсь с мельницы, чтоб съездить в Новгород-Северский к родным.

В моем городе никаких особых перемен. Снегом покрыты крыши домов, снегом занесены улицы, седые от снега кусты на холме-городище Игоря Северского. Отец как шил, так и шьет, теперь у него новые заказчицы — нэпманши, мать как хлопотала по дому, так и хлопочет, подвыгнулся брат Гарик, подросла Ася. В укоме по-прежнему Таня Браудэ, мною недовольна — сбежал и никому ничего не сказал. В подвале «Иллюзион» крутит динамо в 12 кило-ватт своими изношенными лошадиными силами старый друг «Отто Дейц». Стоят сильные морозы. Побывка обещает быть тихой.

И вдруг — умер Ленин!

В тот день 22 января 1924 года в разных концах страны, и в городах и селах, многие стали собираться в дорогу. Решили ехать и мы — семь человек от укома комсомола, выписали пропуска, собрали денег, оделись потеплей. У меня был армейский полушубок и армейские ботинки с обмотками — мороз не пугал.

Поезда не подходили к Новгород-Северскому километров пятьдесят — бежали за санями, на ходу грелись. 24-го с налету — парни здоровые! — пробились в товарный вагон не было печки. Немного от мороза спасала теснота. Проехали и стоп — вылезай! В паровозе кончились дрова. Все, кто был в эшелоне, растянулись по полю, по колено в снегу, до ближайшего леса, передавали из рук в руки мерзлые чурки, загрузили паровоз, тронулись дальше. И так ползли, подолгу стояли на станциях, останавливались, грузили дрова между станциями. Почти совсем не спали, не на чем, не ляжешь же на обжигающий холодом пол. Таких морозов старики не помнили. За всю дорогу — ни смеха, ни шуток, ни возни — угрюмы, замкнуты до ожесточения. Страшное похоронное путешествие.

Наконец, через трое суток, утром 27 января наш товарняк прибывает на Брянский вокзал. Нас встретила погруженная в сугробы Москва. Но только вышли на

площадь, увидели костры. Костры по всей засугробленной Москве, возле них топчутся кучки обмороженных людей, как и мы, приехавших на похороны Ленина, как и мы, бесприютных.

С первых же шагов мы узнали, что к Колонному залу Дома союзов спешить незачем, позавчера и вчера народ шел мимо гроба до поздней ночи, сегодня утром его вынесли. И мы через мосты над замерзшей рекой, по Ильинке, мимо костров, мимо заиндеветавших людей двинулись к Кремлю...

На Красной площади уже стоял деревянный мавзолей, ближе к зданию Исторического музея — большая трибуна. По площади выстроены конники в буденовках, в шинелях с малиновыми «разговорами». Жесткий до озноба блеск труб военного оркестра, играющего на лютом морозе похоронные марши. И напиральная на нас толпа со всех сторон, летучий пар от дыхания. И рыжие стены Кремля, и окоченевшие в морозном мареве главы собора Василия Блаженного.

Нам не очень-то хорошо видно, но по тому, как дрогнула, подалась и замерла толпа, по тому, как выткнулись в седлах и застыли конники, мы поняли — момент наступил. Грохнули залпы и... весь заснеженный город всколыхнулся, загудел, придушенно, грозно, похоже, слаженно. Нет, не только мне показалось, другие тоже потом рассказывали, что гудки заводов и фабрик, гудки паровозов в те минуты явственно выводили: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Позднее ходили слухи о каком-то неведомом дирижере, будто бы настроившем всю промышленную Москву. Только слухи, никогда и нигде я об этом не читал, более достоверных сведений получить не случилось. Может быть, значительность минуты, единое у всех настроение и общее нервное напряжение вызвали массовую слуховую галлюцинацию, величаво торжественную и горестную. Или, может, те, кто тянул за рычаги гудков, рабочие котельных, паровозные машинисты, не сговариваясь, каждый сам по себе, зная, по какому поводу он дает гудок, вольно или невольно вылаживал знакомый мотив. Знакомый для всех, самый признанный, самый распространенный. А ведь начинали-то все в одно и то же время...

Как бы то ни было, но в глухом реве гудков не только для меня одного звучало: «Вы жертвою пали...». И огромный, заваленный сугробами город казался тогда каким-то фантастическим живым существом, осознанно скорбящим, страдающим своей болью, столь же необъятной, подавляющей, как и он сам. Зарыдали женщины в толпе... А я почувствовал — сливаюсь с этим горестно-великим, растворяюсь, перестаю существовать отдельно и — восторженный холод от переполняющего самозабвенного чувства.

Всю жизнь потом, как вспомню, сразу появляется этот холодок, даже сейчас...

## ВУФКУ

В Одессе создан не электротехникум, а кинотехникум при кинофабрике, однако в нем есть отделение, которое выпускает электриков и техников-механиков. Старый служака театра «Иллюзион», я снова попадаю в кино. У меня здесь новые друзья: Люся Каплер, Митя Дальский, Мира Белинский, Алеша Панкратов, Садецкий Аркаша, Маевская Мима (Мечислава Маевская. — М.Т.)... Все они скоро станут кинорежиссерами, сценаристами, операторами, а пока — споры об искусстве: Ренуар и Сислей, Сезанн и Ван Гог, Рембо и Верхарн, Гриффит и Лауритцен... Я же знал наперечет актеров, особенно комиков: Андре Дида и Макса Линдера, Гарольда Ллойда и Бестера Китона. Наконец, Шенстрома с Мадсенем в облике Пата и Паташона, недавно появившихся на наших экранах. Искусство мне преподавал все тот же «Иллюзион», но что хуже — физику я проходил возле «Отто Дейца», математику же в гимназии Новгород-Северского, которая постоянно закрывалась по причинам военного времени. Как мог я наседали на учебники, тянулся. Не только тянулся...

Правда, я преуспевал как активист-общественник. Горком комсомола сделал меня уполномоченным по политобучению среди молодых работников искусств. И я преподавал балеринам суть смычки города и деревни, задачи нэпа, значение натурального налога, отношение к середняку. Ничего, терпеливо слушали.



Мои товарищи почти все уехали в Москву, в созданный институт Кинематографии, я же был выпущен инструктором по кинофикации и направлен в Харьков — тогда столицу Украины — в распоряжение ВУФКУ.

ВУФКУ — это Всеукраинское фотокиноуправление, и занималось оно главным образом кинофикацией поселков и волостных центров.

За свою жизнь впоследствии я пережил немало праздничных событий, связанных с крупными победами нашей энергетики. Я участвовал в торжественном запуске многих прославленных станций — Свирский каскад, Братская ГЭС, Конаковская ГРЭС и пр. и пр. Сколько раз я переживал счастье завершения большого труда вместе с радостным облегчением от того, что бесчисленные, порой невероятные трудности остались позади. Это и яркие моменты в истории нашей страны и уж конечно же весьма памятные моменты моей биографии — забыть невозможно. Но никогда при этом я уже не испытывал редкостного чувства первооткрывателя, которое появлялось у меня после каждой поставленной киноустановки.

Да, да, особое удовлетворение первопроходца, открывшего новые земли.

Сопровождаемый двумя подводами, а то и просто налегке, если все необходимое было доставлено раньше, приезжал в Сумы или Ахтырку или в какой-нибудь поселок при сахарном заводе. Никто не замечал моего появления: бродят себе козы по унавоженным улицам, торчат лошади у коновязи, досужий мужик подпирает плечом падающий плетень, баба развешивает стираное белье, никто не обращает на меня внимания — обычный день, обычная жизнь. Ан нет, пройдут десятки лет, и кто-то тогда задумается: а когда это, в какое время в первый раз у нас зажглась электрическая лампочка?.. Нет, еще не сегодня, но уже эти первые, самые первые в вашей жизни лампочки лежат у меня, я их зажгу!

Мое место действия — какой-нибудь старый дом бывшего купца, выгнанного революцией, а то и просто обширный сарай, наскоро переделанный в клуб. У меня задача: в подвале ли, в пристройке или в задней, наглухо отгороженной комнате установить движок — вроде моего старого знакомого «Отто Дейца», — к нему динамо в 20–30 киловатт, протянуть проводку к кинопроектору, повесить одну-две лампочки в зале, одну в фойе (если таковой есть), одну в кассу, где будут продаваться билеты и, наконец, на улице, при входе. Этим наружным лампочкам я уделяю особое внимание, они-то и должны провозгласить новую эру в жизни поселка — электрическую!

Я и мои помощники, местные парни, сторающие от желания иметь в поселке свое кино, работаем нешумно, ковыряемся у себя и не привлекаем особого внимания, и только когда я вешаю наружные лампочки, торчат любопытные ребятишки.

Но вот ввинчен последний шуруп, убраны стремянки, заводится движок, проверяется свет, кинемеханик крутит кусок ленты: в бороденке, в штанах-обдергайчиках скачет по экрану Игорь Ильинский, вечером пойдет «Папиросница из Моссельпрома». Все в порядке, я иду сообщать — дело закончено.

Вечер. Стучит движок, я тянусь к рубильнику, сейчас от моей руки вспыхнет первый электрический свет. Снаружи собрался народ, каждый подготовлен разговорами, знает, что предстоит увидеть новенькое, большинство еще не сталкивалось в жизни с электричеством. И все-таки каждый раз раздаются изумленные возгласы, когда вдруг вспыхивает белый накал — свет, режущий глаза. Огонь свечи, язычок лампы — все, что раньше тоже называли светом, жили при нем, считали достаточно ярким, было просто тусклым унылым тлением. И задранные вверх, к лампочкам, лица, они разные у разных людей. Одни — напряженные, недоверчиво выжидающие, неподвижные, другие — разглаженные, улыбающиеся, тянущиеся вперед, третьи — смятенно-растерянные, почти испуганные. Немотно выражающие: такого быть не может! А знакомый поселок перед клубом словно опрокидывается — деревья странно ломаются, покосившиеся плетни становятся вдруг узорно нарядными, даже ярко освещенный мусорок на дороге обретает какую-то значительность, а кругом, куда не достигает свет, — угрюмая пещерная темнота. Из этого пещерного мрака выныривают опоздавшие: согнутая бабка с клюкой двигает непослушными ногами, спешит и вдруг — стоп, встала, острый подбородок выставлен, глазницы залиты мраком, узловатая рука, сложенная в щепоть, тянется ко лбу: «Свят! Свят! Иисусе Христе праведный!» Опешила бабка.

Но проходит минута изумления, кончается завороченность, люди начинают энергично двигаться, шумно говорить, размахивать руками. А на притоптанной земле их передразнивают тени, непривычно резкие, черные, лихорадочно светливые.

И стоят впереди ребяташки, тарашат круглые глаза, все еще никак не могут прийти в себя, оторваться от привораживающего света. И у кого из них оборвется внутри, кто-то, очнувшись, почувствует себя иным, как я когда-то — с первого взгляда...

Не умом, а глубинной частицей души я тогда понимал, что эти лампочки — долговечней любого памятника. Раз загоревшись, они уже теперь будут гореть, никогда не погаснут. Электричество явилось, и оно не исчезнет. А привел его я! Мне выпало быть самой ранней ласточкой, открывающей весну. С меня начинается уходящее в века, — инструктор кинофикации, Прометей в залатанных штанах!..

Я установил двадцать девять таких карликовых электростанций, работающих на кинопроектор.

### «НОРД-ПАТЭ» И ЛУКОВИЦА

Но подвалила работа и покрупнее. Я получил задание электрифицировать Веретенковский агротехникум, что расположился в бывшем помещицьем хозяйстве под городом Сумы. Здесь большое кирпичное двухэтажное здание, дома поменьше, скотные дворы, хозяйственные службы, мастерские, водокачка — пусть не столь и большой, но целый поселок! И тут тебе не шнур протянуть к нескольким лампочкам — разработай схему, сообрази, что куда, в каком порядке, и помни о нагрузке: на один квадратный миллиметр сечения проводника полагается не более шести ампер! И трудиться на все это хозяйство будет уже не маломощный движок, а «Норд-Патэ», от которого можно взять более ста киловатт!

Мне предоставили подвальное помещение и трех помощников — пожилого рабочего, снятого со строительства сахарного завода, слесаря из местных мастерских и мальчишку, учащегося техникума, на подхвате.

Я облазил все здания и службы, учел каждую лампочку, выстроил разветвленную схему, руководствуясь законом — на один квадратный миллиметр шесть ампер! — и понял, что заготовленного провода мне не хватит.

Заведующий техникумом, степенно-мужиковатый, с рубленным, вечно озабоченным лицом человек, почесал в затылке:

— Мне сказали, что вполне достаточно.

Если б мы провод тянули, как веревки для белья, тогда достаточно, но нам нагрузку надо учитывать. Строго по научному расчету! Иначе перегорит.

Нельзя, хлопчик, чтоб перегорало, никак нельзя... Что ж, дам бумагу — съезди, получи.

В подвале рабочих с сахарного завода заливал основание для «Норд-Патэ», а я с мальчишкой-помощником лазил по столбам, тянул линию, придерживаясь научного расчета. Нужного сечения провода не было, приходилось тянуть в одно место по два, по три провода. Тянули, тянули и... не дотянули — провод кончился. Опять стучусь к директору:

— Иван Васильевич, не хватает.

Иван Васильевич трет жесткой ладонью небритую щеку, смотрит на меня колющими глазами:

— Ты его с кашей ешь или на черный день припрятываешь?

И я снова раскидываю перед заведующим схему с расчетами, проведенными на основе строго научных данных:

— Могу я в мастерские один провод тянуть, когда у него сечение всего два квадратных миллиметра? Приходится три провода тянуть! А к скотному, а к основному зданию?.. Хотите, чтоб я вам для близиру сделал, уеду — перегорит, меня же потом вы первый проклинать будете!

— Перегорит? Хм? Нельзя, хлопчик, чтоб перегорало, никак нельзя!

Новая бумажка, новые мотки, доставленные из города. Я и сам смущен, что у меня уходит такая уйма провода. Но на один квадратный миллиметр — не больше шести ампер! В науку я верю больше, чем папа римский в Господа Бога. А потому...

— Иван Васильевич...

— Что — опять?

— На внутреннюю разводку не хватило...

— Ничего себе... Ты, похоже, в тенета нас заплести хочешь.

— Я строго по расчетам, иначе перегорит же.

— Пока мы горим — втрое больше, чем полагается, провода израсходовали.

— Так бросим, не станем доделывать внутреннюю проводку?

Бедный Иван Васильевич кричит:

— Эх, сказал «гоп», так прыгай... В последний раз, больше мне не выбить и кончика, чтоб штаны подпоясать.

Провод появляется. Я лазаю по стенам, торчу под потолком. Мы уже заканчивали проводку, добрались до комнатухи-кладовки на задах мастерских, заваленной старым хламом — от хомутов до позеленевших канделябров из барских покоев. Однако и в эту конуру полагалась лампочка. Мальчишка-помощник поинтересовался меня:

— Эту лампочку ты тоже учитывал?

— А то как же.

— Ее можно и не считать — раз в году зажгут и то на минутку.

И меня осенило: а в самом деле, не все же лампочки будут гореть все разом. Какие-то будут часто включаться, а какие-то — время от времени, и наверняка никогда не будет момента, чтоб горели все до единой. Так вот почему у меня ушло столько провода! Но шесть ампер на один квадратный миллиметр! Почему наука не предусмотрела, что она дурака валяет?.. Наука-то предусмотрела, да я в то время не знал: существуют у науки этикие хитрости, как коэффициенты загрузки и разгрузки. Я не знал, не знал, разумеется, и доверчивый Иван Васильевич. Но как бы то ни было — все готово. «Норд-Патэ» стоит на цементированном возвышении в подвале, рядом с ним динамо, способная выдать 100 киловатт. Во все уголки большого хозяйства протянуты провода, щедро протянуты, надежно, можно не бояться, что перегорят. Привезена из города новая кинокартина — «Укразия» с участием Зеркаловой в роли белогвардейской шпионки. Заведующий техникумом Иван Васильевич побрит до синевы, нацепил даже под мужицкий подбородок интеллигентный галстучек. Большой праздник в Веретенновском агротехникуме! Конечно, грызет меня совесть — провода-то нынче вещь дефицитная! Но сейчас лучше о них не думать, думай о том, как все кругом вспыхнет. Проверено, отлажено, «Норд-Патэ» работает, как часы.

Съехались гости. Вечереет. Пора... Я спускаюсь к «Норд-Патэ», он чист, вылизан, самодовольно лоснится маслом. Ну-ка, дружок, поехали. Кручу раз, другой... Что-то того, не заводится... Снова с усердием — мертво! Стоит вылизанная машина, вид дурачки-самодовольный. Открываю чехол магнето, вглядываюсь. Магнето — штука несложная, если испорчен, сразу видно. Да нет, магнето в порядке, значит, должна быть проклятая искра. Кручу — нет искры!

Рываются принаряженные девчата:

— Иван Васильевич пыгает, чого свита немає?

— Да вот искра пропала.

Потоптались, постреляли в меня глазами, вылетают вон, слышу их голоса снаружи:

— Искра у його кудай-то заховалась!

— Чего?

— Казав искра, а там бач шо!

И гости съехались со всей округи. Большой праздник в Веретенновском агротехникуме! Проводку нацепил с гарантией, по шесть ампер на один квадратный миллиметр, тютелька в тютельку!.. Хотя не выходя из подвала ищи крюк в потолке, лезь в петлю... Возле меня топчутся мои принаряженные помощники. С отчаянья я хватаюсь за все, проверяю все подряд. Может, горючее не подается?.. Да нет, везде все в норме, нет малого — искры!

Появляется сам Иван Васильевич, чисто выбритое лицо пасмурно. Я потный, измазанный, боюсь даже смотреть ему в глаза.

— Искра...

Иван Васильевич долго посапывает, наконец негромко изрекает:

— Страшал — перегорит, ан зря боялись — не горит вовсе.

Такие слова бьют меня наотмашь. Я хватаюсь за гаечный ключ: раз нет искры, то виновато магнето, ничто другое. Сниму его к чертовой матери, поставлю на стол, переберу всего, перешушуаю...

Отвинчиваю болты, снимаю магнето и...

Луковица, разрезанная пополам, и кусок бумаги! Да, под магнето! Стон облегчения и обиды вырывается из меня: какая сволочь эту шутку устроила!? Лук нарезанный подсунули. Да, пожалуйста, если б лук. Это проводник, и с ним магнето бы работало. Но вот бумагу подложили еще промасленную — уже диэлектрик. Магнето изолировано от массы...

Через пять минут «Норд-Патэ» взревел и заработал. Все хозяйство Веретенковского агротехникума осветилось. Все, каждая лампочка, даже та, что в старой кладовке. Бояться нечего, не перегорит. Праздник начался...

Виновник шутки с магнето так и остался для меня тайной, да я и не особенно его дознавался. Со временем старая проводка в Веретеновке, конечно, поистрепалась, представляю себе, как недоумевал и ругался монтер, который ее менял: какой сумасшедший так напугал?

Сумасшедшего можно простить за то только, что он долго казнилсЯ угрызениями совести.

## УДАР

Владычное ВУФКУ, отнявшее в свое время меня от кино, вдруг решило вернуть обратно — в новую, только что созданную Киевскую кинофабрику. И там — ба! — старые друзья: Митя Дальский, Мира Белинский, Люся Каплер!.. Меня назначают старшим осветителем при униформенной подстанции. Мощные дуговые лампы «юпитеров» и «дигов», освещающих съемочные площадки, могут работать только на постоянном токе, и моя униформенная подстанция перерабатывает его из переменного, питаемая от обычной городской сети.

Был март, в Киеве началась весна, и мощные бульжником улицы, подымающиеся на Андреевскую гору, протаивали. Митя Дальский со своей группой выбрался снимать натуру — дворик одного из домов на Николаевской улице. Прямо от двора круто падал заснеженный косогор, у самого склона столб городской линии. Я должен подключиться к этой линии.

Обесточивать ее нужды нет, протягиваются два кабеля, накидываются на провода у столба, прихватываются зажимами. Операция минутная и немудреная, при сноровке и осторожности безопасная.

Я подставил стремянку к столбу, влез наверх. Стремянка неустойчива, но один из моих помощников поддерживает ее, иначе ухнешь под косогор. Накинул и зажал на проводе один конец, зажал второй, можно слезать, опускаю ногу и... стремянка поехала. Помощник Якубовский зазевался внизу. Я падаю со столба...

Хватаюсь — где уж тут сообразить! — за провода. Обоими руками за два провода! И меня бьет, темнеет в глазах, в голове словно взревела сирена. А руки сводит судорогой, разжать пальцы, отпустить провода уже не могу, тело выворачивает, корчит. В гудящей голове пробивается мысль — сейчас стянет провода, короткое замыкание, пламя и... конец! Пытаюсь руками развести провода в стороны, но где там — руки непослушны, их крутит, ломает, и провода сходятся все ближе и ближе. Сейчас сомкнутся — спасения нет!

Провода сомкнулись, но не надо мной, а дальше, на середине, где был провис. Корчась, я раскачал их, они перехлестнулись — хлопок, треск, пламя, искры. Короткое замыкание, линия обесточивается, и я падаю вниз, в черный мартовский сугроб, теряю сознание...

Очнувшись, вижу багряно-красный мир, слышу, словно издалека, как хлопочет надо мной Якубовский:

— Зарыть! По шею зарыть надо! Одна голова чтоб!..

И усердно забрасывает меня снегом.

Но приехала скорая, меня забрали в больницу.

Пришел в себя достаточно быстро, но из больницы не выпускали больше месяца. И болезнь моя именовалась громко и красочно: ангио-невроз-церебрал. Ишь ты, не слыхивал, чтоб у кого-нибудь такая была.

Крещение начинающего электрика. Много позднее, когда я стал генеральным инспектором энергосистем Советского Союза, за такие «крещения» я наказывал со всей беспощадностью. Редкий выходит из них живым.

Мне повезло, что стрела провиса этой старенькой городской линии (напряжение всего шесть вольт!) была больше обычной. Мне повезло, что во время судорог я чудом не задел столба. Стоило мне его коснуться и... вы бы не читали этих записок.

### «ЧЕРВОНА УКРАИНА»

Пока я входил с дальних задворков в нашу электрификацию, пускались одна за другой станции: «Красный Октябрь» на Утиной Заводи, Каширская, Штеровская, Шатурская, Балахнинская, Кизеловская, наконец, Волховская ГЭС. И вот уже газеты сообщают, что те полтора миллиона киловатт достигнуты, план ГОЭЛРО, собственно, выполнен.

А давно ли при тусклой коптилке Моисей Месежников рассказывал нам... Казалось тогда — недосыгаемо далеко то сказочное время, когда города и села зальет электрический свет. Рассчитано было на десять лет, десяти не прошло, только шесть... Правда, нынешняя страна вовсе не похожа на ту сказочную землю, лишенную ночи, какая представлялась мне тогда, в темной комнате с чадающей коптилкой. Полтора миллиона киловатт, оказывается, не так уж и много. Но города — да, электричество, а деревня — хорошо, если при керосине, а часто все еще: «Ты гори, гори, моя лучина...».

План ГОЭЛРО выполнен?.. Да нет, лишь разворачивается.

Я еще ни разу в жизни не видел крупной электростанции, только на фото в журналах — красивые здания, с частоколом труб или рядом с низвергающейся водой из плотины. Я гордился ими, как все, считал — построены на века! Кому могло прийти тогда в голову, что эти свеженькие, юные — каждая намного моложе меня! — станции с годами постареют. Быстрее даже, чем состарюсь я сам...

А у меня подошло время идти в армию. Я был завидно здоров, от моего редкого заболевания с красочным названием не осталось и следа, призывная комиссия районного комитета направляет меня на флот.

Да простится мне вольность, если я поведаю соленый матросский анекдот, появившийся где-то перед Первой мировой войной.

Для военных моряков царским указом создан на берегу публичный дом. И вот команда «Императрицы Марии» гадает, когда их отпустят, чтоб посетить богоугодное заведение.

— Эх, братцы, не скоро. Сейчас у девок «Три святителя», потом пойдет «Святой Пантелеймон», за ним «Двенадцать апостолов» и уж тогда только «Императрицу Марию» подпустят.

Как не бесхитроsten и краток этот анекдот с дремучей бородой, но в него вместится едва ли не все главные силы царского флота.

Броненосцы «Три святителя», «Святой Пантелеймон», «Двенадцать апостолов» — тихоходные, с маломощными паровыми машинами, с устаревшим вооружением. «Императрица Мария» — сверхдредноут, построенный по последнему слову техники того времени, едва спущенный на воду, приказал долго жить. Стоя на рейде, он загадочным образом взорвался, перевернулся и ушел под воду.

Во время войны немецкие крейсера «Гэбен» и «Бреслау» на Черном море подходили вплотную к нашим берегам, обстреливали из тяжелых орудий и безнаказанно уходили. Неуклюжие «Святители» и «Апостолы» не в силах были их догнать.

Но и этот флот полностью не сохранился после революции, часть его мы были вынуждены сами потопить под Новороссийском — драматический момент нашей истории, положенный в основу «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского.

Еще в царское время на судоверфи в Николаеве и на Балтике заложили два новых крейсера по самым лучшим образцам, с учетом всех технических достижений. Но закончили их уже после революции — знаменитые «Червона Украина», гордость черноморского флота, и «Профинтерн» гордость балтийцев.

Вот на «Червону-то Украину» я и попал служить.

Наверное, нынешним военным морякам, плавающим на современных судах, покажутся смешными и наивными мои восторги крейсером полувекковой давности — экий, мол, ихтиозавр! — но тогда «Червона Украина» казалась чудом инженерного искусства. Да и теперь многое достойно удивления.

Прежде всего это чудо архитектоники. Представьте себе судно не столь уж и больших размеров, длиной всего каких-нибудь сто с лишним метров. А оно вмещает в себя тысячу человек, запас топлива в несколько тысяч тонн угля, запасы пищи, питьевой воды, несет на себе столько орудий, что ими можно вооружить более трех артиллерийских дивизий, не считая при этом двух четырехтрубных торпедных аппарата. И запасы снарядов, торпед, взрывчатки. Команда крейсера, собственно, живет на пороховой бочке. Наконец, турбины вкупе с электроагрегатами, общая мощность которых почти равна Каширской станции в первые годы ее существования...

Владычествует над всем здесь каперанг Несвицкий. Он из родовитой дворянской семьи, едва ли не связан родством с князьями Несвицкими, упоминаемыми еще в литовских летописях XIV века. Он честно и безупречно служил в царском флоте, но один из немногих морских офицеров, которые сразу же признали революцию, предложили ей свои услуги. Крупный, грузный, с обветренным, тяжелым, суровым, лицом морского волка, с неизменной трубкой в зубах. Он до беспощадности строг, его панически боятся на корабле все — от трюмного краснофлотца до старпома. Не было такого, кто не обмирал бы при его появлении. Но когда Несвицкий покидал крейсер — ему предстояло командовать линкором, — обходил в последний раз на катере свое судно, прощался с выстроившейся на палубе командой, многие из матросов плакали. Да, даже те матросы, из которых швартовым тросом не вышибешь слезу! Пусть это не покажется надуманно сентиментальным.

Старший помощник командира корабля Кудряшов — образец флотского командира: образован, остроумен, холодно корректен, одет всегда не просто безупречно, а с тем неуловимым щегольством, вызывающим чувство подавляющего великолепия, которым всегда отличалось морское офицерство, не снисходившее до сухопутной военщины. И к тому же он молод и поразительно красив — кумир севастопольских женщин.

Под его командой вся корабельная артиллерия — палубная, башенная бортовая, кормовая, носовая — вместе с обслугой.

Артиллерийские орудия собраны в группы — плутонги. Плутонгами называют и командиров этих групп.

У каждого орудия — свой командир, старшина, или, иначе, комендор.

Я же — старший артиллерийский электрик, по-старому — гальванерный старшина. Большой властью я не обладаю, к среднему командному составу не принадлежу, однако фигура на корабле весьма существенная, подчиняюсь только стаарту Кудряшову. Только ему да, разумеется, общему богу Несвицкому.

## **МОЯ РАБОТА**

Мое место в самом чреве корабля, глубоко в трюме, в тесной рубке перед пультом управления. Я отшельник — удален от всех и со всеми связан.

Выше всех над боевой рубкой командира корабля несут вахту наблюдатели, вооруженные трубами, дальномерами и прочими приборами. В их обзоре все море,

насколько позволяет кривизна земли. Наблюдатели замечают, скажем, корабль противника — цель! Их задача быстро указать точное направление, высчитать расстояние, с какой быстротой и каким курсом эта цель движется.

Но море не плац, по нему гуляет ветер, ходят волны, они качают корабль вместе с орудиями, равно как и далекую цель. Все это надо учесть, иначе выпущенный снаряд полетит мимо.

Расчеты наблюдателей передаются стаарту и плутонгам. Те по специальным таблицам высчитывают — чудес кибернетики тогда еще не знали — упреждения с учетом ветра, волнений и прочих досадных помех. И уж тогда-то эти высчитанные данные передаются мне в трюм корабля, в мою отшельническую рубку.

В этот ли момент или еще раньше по команде командира я нажимаю кнопку на пульте. Подо мной, уже на самом дне трюма — крюйт-камеры, где в строгом порядке разложены наши боеприпасы. Моя кнопка запускает туда специальную механическую руку — храпок. Он ложится на снаряд, захватывает его и бережно переносит на каретку — тельфер. Как только снаряд опускается, каретка приходит в движение, катит к шахте лифта. Лифт, приняв ее, подымает вверх, прямо в башню. Где-то на полпути задевается контакт, который услужливо открывает замок у тяжелого башенного орудия. Снаряд на каретке останавливается напротив открытого казенника и опять же механически загоняется в ствол. Однако снаряд сам по себе вылететь из ствола не может, его должен выбросить специальный заряд. А поэтому...

Механическая рука тем временем не бездействует... Она, развернувшись в другую сторону, столь же бережно берет из другой крюйт-камеры первый «картуз». Это шелковый мешок, заполненный взрывчаткой, специальным артиллерийским порохом. Мешок длинный и узкий, как раз по орудийному стволу. Он отправляется тем же путем. Одним картузом обычно не ограничиваются. Полный заряд — два картуза.

И всю эту сложную подготовку я совершаю одним нажимом пальца на кнопку, остальное за меня делают машины, подгоняемые и управляемые электрическим током. Мне остается нажать вторую кнопку, закрыть замок орудия, находящегося далеко от меня, в башне над палубой.

Теперь орудие необходимо навести на цель. Нет, не командир, сидящий в орудийной башне, глядящий сквозь боевую щель в броне, совершает это. Навожу тоже я — по данным, которые получил: щелкаю тумблерами, кручу рукоятки, слежу за стрелками приборов, настраиваю. Цели я не вижу, как не вижу ни неба, ни моря, ничего, кроме своих приборов. Но ствол орудия направляется моими руками.

Проходят всего-навсего секунды с того момента, когда наблюдатели засекали цель. Однако — секунды, какое-никакое, а время! Цель-то не мертвая: на ней тоже люди, они, разумеется, замечают нас, начинают маневрировать — меняют курс, снижают или увеличивают скорость, делают все возможное, чтоб спутать наши расчеты. И тут-то приходит время комендора, который до сих пор не прикасался к своему орудию. Теперь он доводит его. Я сделал грубую наводку, комендору остается ее отшлифовать.

И я слышу из боевой рубки команду:

— Товсь!

Кладу ногу на педаль, замерев, жду. Вторая команда:

— Ревун!

Я жму педаль. В далекой от меня башне грохочет орудие.

Выходит, что стреляю опять же я, старший артиллерийский электрик, упрятанный в чреве судна. Я со своими приборами — центральный нервный узел орудийной мощи боевого корабля. Именно тут с отчетливой наглядностью осознал, как органически может слиться человек с подвластной ему электрической энергией. Я, Гришка Асмолов, обычный из обычных парень, ровно ничем не выделяющийся от других, садясь в своей рубке, утрачиваю свою человеческую обычность — с легкостью и быстротой делаю то, что непосильно для нормального человека, движением пальца переносу многопудовые снаряды, не видя цели, навожу орудия и стреляю из них, не прикасаясь к ним, присутствую как бы одновременно в разных местах, чувствую грозный, закованный в броню крейсер своим телом. Право же, с обузданием электричества в человеке появляется нечто сверхчеловечье.

<...>

## ЛОКАФ

Нет, моя флотская жизнь не замыкалась классами училища, трюмной рубкой артиллерийского электрика, «травлей» в свободные часы на «фитиле». По своему характеру я человек общительный и активный, а потому едва ли какое общественное мероприятие проходило мимо меня.

К тому же природа по случайности наделила меня зычным голосом, и я без зазрения совести усердно им пользовался. Флотская братва прозвала за это меня «Громкоговорителем».

На массовых митингах я во всю здоровую мощь своих легких громил папу римского, на собраниях вещал высокоидейные (правда, прописные) истины, приходилось читать и громковещательные лекции... даже по эстетике. Как я разбирался тогда в этой тончайшей, духовной материи? Ума не приложу. Весь мой эстетический опыт заключался лишь в том, что я некогда преподавал одесским балеринам сокровенные выгоды натурального налога.

И то, что я ринулся в литературную деятельность, не имею права считать своим сближением с эстетикой. Теперь-то я хорошо понимаю, как я был далек от нее.

Первое литературное упражнение я совершил еще в 1921 году, напечатав в уездной газете «Пламя» заметку, в которой воодушевленно объявлял жителям: «Наш город окружают злые банды, рвут нас, как собаки...» Что, впрочем, новгород-северцы и без меня прекрасно знали.

Сочинял я и эстрадные, насквозь проникнутые высокой злободневной политикой, куплеты для «синезлужников» — кружков самодеятельности тех лет.

А на крейсере мы создали литгруппу «Шторм» — пять человек. И тут уж литтворчество забило из меня фонтаном: сотрудничал в разных газетах — в нашей флотской «Красный черноморец», в «Комсомольце Украины», в «Комсомольской правде» — статьи, заметки, очерки, стихи...

И песни тоже.

Я сочинил что-то вроде гимна крейсера «Червона Украина»:

Шуруй на полный,  
Брат кочегар.  
Пусть хлещут волны,  
Поддай-ка пар...

И этот бравый гимн был подхвачен на других кораблях, стал распеваться по всему нашему флоту, перекинулся даже на Балтику.

Едва ли меньшим успехом пользовалась и другая песня, так сказать, уже с ракурсом в героическое прошлое нашего юного флота. Она освещала знаменитый случай, когда наш комендор подбил одним выстрелом английскую подводную лодку, забравшуюся в залив.

Как английский сэр  
Шел на СССР,  
Год был девятнадцатый суровый...

Ни меня самого, ни тех, кто распевал эту песню, не смущали исторические неточности: в 1919 году «английский сэр» не мог идти на СССР по той простой причине, что СССР как такового еще не существовало, была еще только РСФСР.

Не судите меня строго, теперь я не краснею лишь потому, что помню, с каким искренним энтузиазмом принимались эти незатейливые рифмования моими простодушными товарищами-матросами. Право же, искренность, пусть даже наивная, достойна уважения.

На холодных волнах Балтики качался еще один поэт, созревший в матросском кубрике, Вильгельм Ильстер. Мы переписывались друг с другом, обменивались стихами.



В походе «Червоны Украины» к берегам Турции, Греции и Италии вместе с нами отправились, одетые в военную морскую форму, Федор Гладков и Владимир Луговской. Они сразу же взяли шефство над нашей литгруппой «Штурм». Федор Гладков знакомил нас с классиками, Луговской читал теорию стихосложения, учил отличать «ямбы от хорей». Они-то первые и высказали мысль — принять весь наш «Штурм» в члены ЛОКАФа — Литературного объединения Красной армии и флота, образовавшегося при РАППе.

К этому времени я уже пережил относительно шумный успех. Мою большую, на целый подвал, статью напечатали сразу две газеты — «Комсомолец Украины» и «Комсомольская правда». Статья называлась «Эй, там, на берегу!» и громко взывала ко всем сухопутным гражданам нашей страны не забывать тех, кто в море.

И со всех концов на мой адрес пошли письма. В первую очередь на призыв обоюдной дружбы и помощи отозвались, разумеется, девчата. <...>

Меня, как начинающего литератора Черноморского флота, выдвинули делегатом на съезд ЛОКАФ Украины.

### СЛУЧАЙ

Я бы не стал столь много уделять внимания этим горячим, но, право же, не слишком серьезным увлечениям, если б они как-то не помогли свершиться важному для меня событию. Важному и заурядному — каждый, кто достиг достаточно зрелого возраста, так или иначе пережил нечто подобное.

Но этому событию предшествовал один случай.

В один из выходных дней наш крейсер дежурит по базе, команда не отпущена на берег, каждому вменены какие-то обязанности. Лично я — дежурный старшина спасательной группы по водяной тревоге. Обычно такие дежурства проходят тихо. На шлюпблоках висят шлюпки, которые можно спустить на воду в любую минуту. В шлюпках лежат мои ребята и, по флотскому выражению, «давят петуха» — спят. Помнится, я читал тогда Кампанеллу, «Город Солнца», всей душой веря в утопию.

И вдруг с адмиралтейской башни колокол — сигнал бедствия на воде! Кампанелла летит в сторону, я вскакиваю и рывком к вахтенному начальнику.

— У Херсонесского маяка люди за бортом!

А только что «давившие петуха» ребята успели не только очнуться, но и спустить шлюпку на воду.

В море перевернулась яхта с отдыхающими из санатория — отвалился киль. Мы поспели вовремя, бойко начали тащить из воды утопающих — мужчин и женщин. Набилась полная шлюпка мокрых, перепутанных людей. Я пересчитал:

— Двадцать один! Все?..

Кто-то неуверенно ответил:

— Все.

Другой испуганно возразил:

— Нас было двадцать два!

И тут я увидел в море двадцать второго. Круглая, как у моржа, голова то показывалась, то ныряла — совсем, видать, на последнем издыхании.

— Гребни!

Ребята налегли на весла. Но вплотную подгребать опасно — нырнет утопающий под шлюпку, захлебнется и уйдет на дно. Отбросив бескозырку, кидаюсь в воду.

Бог ты мой! Ну и мужик — вдвоем не обнимешь. Лицо квадратное, в судороге, глаза выкачены. Пока я примерялся — за что бы поддеть, он вцепился в меня мертвой хваткой, рука, что железные клещи. Я дернулся, где там... Даже пошевелиться не могу, утащит на дно. Освободил правую руку и по переносице изо всей силы, чтоб оглушить. Но в воде не особенно-то размахнешься, да и переносица каменная. Бью, бью — целую неделю потом болела рука, — а он даже и не мигает, тарашится, еще крепче сжимает, тянется обхватить, навалиться. Тогда уж конец и ему и мне. И я решаюсь — надо напоить! Набираю побольше воздуха в легкие, обнимаю утопаю-

щего, иду вместе с ним под воду. На глубине тонущий отпускает меня, начинает рваться — держу: нет, погоди, напейся до отвала, иначе снова вцепишься там наверху. Наконец он обмякает, тогда я всплываю, с трудом волоку его к лодке.

Не так-то просто было втащить его в шлюпку. У моих ребят не хватило силы, только с помощью спасенных еле-еле удалось перевалить через борт тушу — килограмм сто двадцать, никак не меньше. Перевернули его лицом вниз, животом на мое колено, чтоб выдавить воду — пошла и обильно...

На следующий день меня вызвали в адмиралтейство: моим ребятам, каждому, — недельный отпуск, мне — часы и две недели отпуска. И не только потому, что я был старшим спасательной группы — выловленный мной из моря человек оказался очень крупным начальником.

## ВСТРЕЧА

Две недели отпуска и санаторий для лечения. Последнее вызвало среди матросов дружное ржание:

— Для лечения в санаторий!.. Ха-ха! Гришка-то, выходит, здоровьем слаб!

Оно и в самом деле смешно — не представлял себя больным. Однако мало того что в санаторий, еще вежливейше спрашивают, в какой именно желательнее?

<...>

— В Симеиз, если можно.

Почему же нельзя, пожалуйста, герой дня, так сказать.

А в Симеизе меня сразу же впрягли в общественное мероприятие:

— Выступите, пожалуйста, перед отдыхающими. Расскажите что-нибудь о флоте.

Краснофлотцы пользовались тогда повышенным интересом, как немного позднее станут восторженно интересоваться летчиками и как теперь — космонавтами.

Курортный зал Симеиза — человек на четыреста, на пятьсот — был заполнен. Мне не впервой выступать перед такими аудиториями, и уж если я не робел перед эстетическими темами, то о флоте у меня имелись отработанные рассказы, например, о героическом походе через семь морей и один океан.

Только что приписанные к Балтийскому флоту линкор «Парижская коммуна» и крейсер «Профинтерн», пренебрегая ультиматумом западных стран, запрещающим перебазировку, проплыли из Ленинграда в Севастополь, обогнув всю Европу.

<...>

Я рассказывал и все больше и больше ощущал странный контакт — нет, не со всем переполненным залом, с одним человеком, сидящим даже не в самом переднем ряду. Девушка во взведенно-строгой посадочке, не спускающая с меня глаз. <...> нежный овал лица, точеный нос и неломко прямой прозрачный взгляд.

Я рассказывал, усердствовал, острил по адресу иностранных держав, устроивших радиопереполох вокруг исчезнувших в Средиземном море русских кораблей, а незримая струна между мной и незнакомкой все натягивалась...

Полтыщи человек сидело в зале, среди них сотни девчат, столь же внимательно меня слушающих, столь же пристально на меня глядящих, были среди них, наверное, и не менее красивые, а чувствовал я только одну, убежден — она знает, что я чувствую. Туго натянутая чуткая струна между нами.

После выступления, когда курортная публика высыпала из открытого зала в парк, стала растекаться по дорожкам, я сразу же увидел ее. Она шла одна, склонив голову, с той заторможенной неспешностью, в которой явственно ощущается ожидание.

Я сделал за ее спиной несколько смятенных кружений и, наконец, подметая широким матросским клешем песочек, решительно пришвартовался:

— Скажите, как вас звать?

Она кинула на меня из-под склоненного лба настороженный, холодно прозрачный взгляд, секунду молчала, словно колебалась — не стоит ли отшить лихого морячка за бесцеремонность? И ответила:

— Мария.

— Меня — Гриша. Будем знакомы.

Мы решили пойти к морю. Море с утомленными вздохами ложилось на вылизанный берег и, грустно шурша, уползало. Лунная — жидкое золото — дорожка, тихо волнуясь, тянулась мимо дыблящихся в ночи скал Монаха и Девы. Теплый ветерок забрасывал к морю сухие полынные запахи.

Мы уговорились встретиться утром на пляже, чтоб вместе поплавать в море.

## ЗАПЛЫВ

И вот, яркое утро и тихое море. Мягкие волны лишь робко и неохотно ложатся на мокрый галечник, исчезают, не успевая убежать обратно. Монах и Дева, накаленно бронзовые, иссушенно морщинистые, дремотно стоят в обмершей воде.

А в распахнутой синеве, далеко от берега — голова. И я понимаю — Она! Не дождалась, уплыла, мне ее уже не догнать. Не может же моряк сидеть и ждать на берегу. Чего доброго еще подумать может — боюсь открытого моря.

Я привязываю свою бескозырку ленточками под подбородок. А ленточки у меня не обычные — концы до лопаток, какие носят салажата, — а фасонные, через всю спину. Привязал бескозырку и к скалам — Монаху и Деве, выползим в море, как раз туда, куда и плывет она. Успею...

Обдирая в кровь руки и колени, лезу на скалы, спускаюсь, снова лезу. Вот и конец скалы — море внизу, метров шестнадцать. И черт знает какое тут дно, может, голубая вода прячет острые камни. Но была не была... Головой вниз, привязанной ленточками бескозыркой в море!

Ничего, не расшибся, глубина порядочная. Вынырнул на солнце, огляделся. Она уже близко. Матросскими лихими саженками — грудь из воды — нагоняю ее.

— Здрасс... — еле перевожу дух.

— Здравствуйте.

Свидание состоялось, но... Пока карабкался со скалы на скалу, вымотался, лихие саженки — грудь из воды — отняли последние силы. Она же не спеша, размеренно и податливо плывет себе и плывет. Держусь, стараюсь не отстать, а дышу уже с трудом.

— М-может... повернем?

Скосила светлый глаз в мою сторону, глаз с искоркой, с усмешечкой:

— Устали? — Сердобольным голосом.

— Н-нет...

И нажимаю из последних сил, стараюсь держаться вровень. Она неожиданно круто повернула:

— Кладите мне руку на плечо.

Куда денешься, я положил.

И бравого матроса доставили к берегу на буксире. Ничего другого не оставалось, как похохатывать над самим собой.

<...>

Мы расстались. Мария уехала к себе в Харьков, я в Севастополь. Как в море корабли. Обещали ли мы тогда друг другу писать — право же, не помню теперь.

Но вот я в Харькове. Съезд ЛОКАФ в Доме Красной армии еще не открылся. Идут сборы и организационные утряски. В ЦК комсомола Украины я сталкиваюсь с Марией.. Она работает на текстильной фабрике, избрана там комсоргом.

Совсем еще недавно она таскала кирпичи на кирпичном заводе. Работка, выматывающая и здоровых мужиков. Но, потаскав целый день кирпичи, она бежала на каток... Не только, оказывается, хорошо плавает, но и хорошо катается на коньках. Тут я уже не пытаюсь соперничать, скромно стою в стороне и смотрю на нее. Смотрю и таю.

Вечером я с ней, днем же среди известных писателей. Меня опекают Матэ Залка и Всеволод Вишневский, Петро Панч и Леонид Первомайский, Безыменский и Щербина... На первом заседании 5 марта 1932 года я, как представитель флота, вместе с ними попадаю в президиум съезда.

А Мария в зале, вижу ее, встречаюсь с ней глазами. Струна между нами...

Внезапно решаюсь — на клочке бумаги пишу: «Узнай — открыт ли сегодня ЗАГС?» И передаю в зал записку. Она разворачивает ее, читает, невозмутимо прячет и... сидит. Не дрогнувшее лицо, по-прежнему взведенная строгость в ее фигуре. Не поторопился ли я... Флотский натиск...

Неожиданно она поднимается и уходит.

Съезд идет, гремят речи. Добрый Матэ Залка пытливо косится на меня темным зрачком.

Я уже любил однажды в своей жизни и тесно сходилась с женщиной. Она была порывисто экзальтирована, умна, образованна, дочь поляка и бельгийки свободно владела иностранными языками, училась на кинорежиссера. Я и сам чувствовал — бесхитростный парень из Новгород-Северского простоват для нее. Наши пути скоро разошлись — она уехала в Москву учиться дальше, я отправился ставить по украинским поселкам киноустановки.

<...>

Мария вернулась в зал и уселась на свое место. На этот раз она смущенно отводила взгляд. Я видел, как она передала записку. Записка пошла по рукам, легла на стол президиума. Матэ Залка пододвинул ее мне.

«ЗАГС работает» — два слова.

Мое сообщение: хочу сейчас расписаться, нужны свидетели, было встречено восторгом. Свидетелей-добровольцев набралось более чем нужно. Захватив Марию, мы веселой толпой отправились в ближайший ЗАГС.

Под свидетельством о браке стоят подписи: Матэ Залка, Петро Панч. Рвались подписями и другие, но — хватит, хватит! Достаточно и того!

С этого дня началась моя семейная жизнь.

<...>

## **ПРОМАКАДЕМИЯ**

Промакадемия. Я, наверное, был самым молодым ее слушателем. Сюда съехались те, кто успел уже выдвинуться, но не успел получить образования — директора не слишком крупных заводов, которых рассчитывали поставить на крупные, инженеры-практики без инженерных дипломов, просто выдвиненцы-рабочие, словом, растущие товарищи. И часто перед преподавателями в качестве учеников сидели уже пятидесятилетние.

Такой вот в пятьдесят лет растущий изнемогал, грыз гранит науки. Он родился в каких-нибудь Сухих Сосенках или Малых Двориках — глухом сельце, хорошо если успел окончить приходскую школу, а то и не успевал, брал котомку с сухарями, шаггал в люди — месил глину для кирпича, рыл ямы под фундамент, старательно бил тяжелой бабой сваи: «Эх, дубинушка, ухнем!..».

Началась война, и он «за веру, царя и отечество» кормил вшей в окопах, бегал в атаку с трехлинейкой. Повернул трехлинейку против господ офицеров, был членом разных солдатских комитетов и снова воевал против Колчака или Деникина, Мамонтова или Врангеля. Наверняка уже не простым солдатом, а комиссаром.

Гражданская еще не кончилась. Где-то добивали басмачей, где-то ловили по лесам бандитов, но уже брались за хозяйство, а потому его вызывали:

— Строительные работы знаешь?

Как не знать, бабой сваи старательно забивал: «Эх, дубинушка!..».

— Лесопильный завод надо восстановить срочно. Вот мандат с полномочиями!

И ехал на разрушенный завод, посулами и угрозами сбивать людей. Подымал завод, — стал выдавать брус, тес, щелевку, может, даже успевал построить новый цех — в тележных колесах крайняя нужда. Но в конце концов его срывают:

— При бывшем заводе купца Бобырева электроустановка осталась. Надо дать городу свет. Ни уха, ни рыла? Знаем. Найди старых спецов. Оседлай.

Он находит, оседлывает, дает свет и первым понимает, что наследством купца Бобырева долго не проживешь — нужно строить свою станцию.

И вот тут-то всплывает: электростанция — дело сложное, со смекалкой от пупа ее не построишь, новые молодые специалисты уже посмеиваются над тобой, тут — или слезай с коня, или учись. Ты завоевал, ты поднял на ноги и — слезай, пусть другие вместо тебя поедут! Э-э, нет, погоди!.. И он получает направление в Пром-академию на энергетический факультет.

Он много знает такого, чего и не снилось профессорам. Знает, как без лошадей доставить за пятьдесят верст из отведенной делянки нарубленный лес, как добыть цемент, когда все цементные заводы в округе давно уже не работают.

Порой он доходил до чудотворства. Если Иисус Христос, сын божий, накормил некогда пятью хлебами пять тысяч человек, то он умудрялся кормить рабочих, вообще не имея лимита на хлеб.

Но он не знает бинорма Ньютона — непосильный гранит, лежащий посреди дремучей науки алгебры. Вот таблицу умножения он хорошо усвоил и костяшками на счетах играет бойко. А уж за бинормом Ньютона лежат и вовсе неведомые дифференциалы, интегралы, бог знает какие еще премудрости высшей математики. Сам черт зубы ломает.

А семья на стороне изворачивается из кулька в рогожку — жить-то теперь приходится на нещедрую стипендию, и вместо бинорма Ньютона лезут в башку крамольные мысли: стоит ли обламывать немолодые зубы о гранит, не вернуться ли обратно, примут и даже с объятиями — становись директором лесозавода, который сам из праха поднял, тес, брус, щелевка, и ни тебе бинормов, ни тебе интегралов... Только вот расти вверх уже не шанешь, иная поросль подымется.

И со скрежетом зубным — в учебники, перемалывать проклятый гранит.

Многие, побившись, обессиленно сдавались, писали заявления об уходе. Но часто люди с трехклассным и четырехклассным образованием победно заканчивали академию. Своего рода духовный подвиг, порой не осознаваемый и самими подвижниками.

Я сказал, что таких вот упрямых толкало на ученический подвиг желание расти вверх, обрести вторую молодость. Однако не всегда только это, толкало и другое — бескорыстная убежденная вера, что «знания — сила!» Не осилишь знаний — не смей считать себя человеком. И при этом — вот парадокс! — обычно такой выходец из рабочих и крестьян, который в прошлом под «Дубинушку» забивал сваи, презрительно относился к тем, кто уже был носителем знаний, к интеллигентам, просто-сердечно считал — они загнивающие, неустойчивые, хлипкая кость, достойны не уважения и доверия, а пренебрежения. Презрительно относился к интеллигенту, и сам через непосильное, ломая свою мужицкую темноту, стремился стать работником умственного труда, то есть тем же интеллигентом. Бессмысленно искать последовательности в этих умозаключениях.

<...>

Не смею быть арбитром и определять лучших из лучших по академии, но не могу не вспомнить своих товарищей, с кем прошел по жизни, в чьих высоких человеческих и творческих достоинствах никогда не пришлось сомневаться.

Со мной вместе учился Александр Александрович Максимов, бывший рабочий, который впоследствии провел ряд крупных исследований во Всесоюзном энергетическом институте. Егор Егорович Спицын, сын аптекаря, отдал всего себя нелегкому делу угольной добычи. Пока он был жив, мои энергетические и его угольные предприятия оказывались всегда рядом, и мы были тесно связаны. Егор Спицын умер чуть ли не на моих руках. С перекошенным от инсульта лицом, задыхаясь, он успел на прощание бросить мне шутку:

— Кажется, меня пробило на корпус, Гриша.

На нашем факультете, как и я, из флота, учился Саша Симаков, успевший до академии поработать инструктором электроминной школы. Я всегда завидовал его незаурядным математическим способностям. Он был одним из самых технически культурных инженеров энергетики.

С Балтийского же флота, но уже на машиностроительный факультет, пришел и Цезарь Куников. Начало войны застало его главным редактором газеты «Машиностроение». Цезарь добился, чтоб с него сняли бронь, отправили на флот. Подвиг его группы морских десантников известен теперь всем, как и имя Цезаря Куникова, одного из легендарных героев Отечественной войны.

С Наташей Сидоровой, его женой и тоже слушательницей нашей академии, я и теперь встречаюсь время от времени.

<...>

Наша академия не обычное высшее учебное заведение. Институты выпускают инженеров, а станут ли потом эти инженеры руководителями производств — директорами, начальниками, управляющими — покажет жизнь.

Нас же готовят как командиров промышленности. А потому помимо тех наук, какие преподают во всех технических вузах, введен особый курс — организация и управление производством. Этот курс не имеет четко очерченной программы, нам рассказывают о теории Тейлора, о практике Форда, предоставляя самим осмыслить — насколько их опыт организации подходит для нас. И конвейеры, запущенные на той стороне планеты в Детройте, вызывают шумные споры — их сокрушают, их оправдывают.

Мы, энергетики, тоже принимаем участие в этих спорах, но от нашего дела они далеки. Мы будем выпускать не автомобили, не чугун, не ткань, а нечто ни на что не похожее. Ни одна фабрика, ни один завод не производят столь скоропортящейся продукции. И если ее не использовать в тот момент, когда она выпущена, то считай — пропала. Добыл электроэнергию, мгновенно передай ее потребителю с той скоростью, с какой идет ток по проводам. А идет-то он почти со скоростью света — 300 000 километров в секунду.

<...>

Защита прошла успешно, и я получаю диплом «инженера-электрика организатора».

Едва ли мы были не последними дипломированными организаторами. Как-то незаметно, исподволь в нашей промышленности создавалось общее убеждение, что важно освоить технику, а организация производства — дело житейское, оно приходит само собой, нет нужды специально учиться этому. И казалось, тут не может быть каких-то особых законов, заведомых приемов, точного расчета — надейся исключительно на собственную природную смекалку. Стоит только покруче требовать с людей — мол, жми, работай, не прохлаждайся! — и основная задача управления предприятием будет решена. Просто и ясно, без заумствований. Требовательность — единственный метод, угроза — единственное орудие влияния.

<...>

А еще недавно у нас шли поиски, научные разработки, переосмысливался опыт капиталистических стран в этом плане. После революции создали Центральный институт труда, руководимый Гастевым<sup>1</sup>. Чуть позднее возникают специальные научно-исследовательские тресты, пытающиеся обобщить практику управления. Курсы красных директоров готовят первых командиров нашей промышленности. Они-то и перерастают в Промакадемии.

<...>

Наше пренебрежение проблемами управления зашло так далеко, что, когда на Западе получила широкое признание новая наука, раскрывающая общие законы управления в сложных системах — кибернетика, мы высокомерно объявили ее лже-наукой, повернулись к ней спиной.

<...>

Публикация Н.Г. Асмоловой и М.В. Тендряковой

1 А.К. Гастев (1882–1939) — организатор и директор созданного в 1921 году Центрального института труда (в 1940 году перепрофилирован). Первопроходец и основоположник психологии труда и инженерной психологии в СССР.

Расстрелян в 1939 году. (Прим. М.Т.)